Экспериментальные переводы

М. ГАСПАРОВ

М. ГАСПАРОВ

ЭКСПЕРИМЕНТальные ПЕРЕВОДЫ

Пиндар
Ронсар
Мильтон
Гёльдерлин
Ариосто
Сеферис
Еврипид
Донн
Батюшков
Жуковский
Пушкин
Баратынский
Вяземский
Гнедич
Козлов
Лермонтов
Верхарн
Гейм
Мореас
Фор
Паунд
Кавафис
Херберт
Парини
Рильке
Элиот
Киплинг
Ириарте
Пьонтек
Йейтс
Борхес
Элюар
Оден
Маро
Хаусмен
Лафонтен
Энценсбергер
Пиньотти
Клейст

М. ГАСПАРОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Пиндар
Ронсар
Мильтон
Гёльдерлин
Ариосто
Сеферис
Еврипид
Донн
Батюшков
Жуковский
Пушкин
Баратынский
Вяземский
Гнедич
Козлов
Лермонтов
Верхарн
Гейм
Мореас
Фор
Паунд
Кавафис
Херберт
Парини
Рильке
Элиот
Киплинг
Ириарте
Пьонтек
Йейтс
Борхес
Элюар
Оден
Маро
Хаусмен
Лафонтен
Энценсбергер
Пиньотти
Клейст

М. Л. ГАСПАРОВ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Санкт-Петербург
ГИПЕРИОН
2003

ББК 84(0)-5
Г22

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА РОССИИ»
(Подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Гаспаров М. Л.
Г22 Экспериментальные переводы. — СПб.: Гиперион, 2003. — 352 с.
ISBN 5-89332-076-X

Стихотворные переводы полагается делать, соблюдая объем и стихотворный размер подлинника. Автор этой книги, известный филолог академик М. Л. Гаспаров, попробовал здесь нарушить это правило: стихотворения, написанные правильными размерами, он переводит по большей части свободным стихом и сокращает их по объему часто в несколько раз. От этого звучание подобных «лирических конспектов» становится новым и неожиданным. Здесь собраны образцы таких переводов из всех жанров и из самых разных поэтов, от Пиндара до наших современников.

Книга предназначается для всех интересующихся поэзией, и шире — русской словесностью новейшего времени.

ББК 84(0)-5

ISBN 5-89332-076-X

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия

ВЕРЛИБР И КОНСПЕКТ

У Пушкина есть рецензия на элегии Сент-Бева, где в цитатах выписаны целые стихотворения. Когда я лет в четырнадцать читал эту статью, то французского языка я не знал и цитаты читал по переводу в сносках. Перевод был прозой, но напечатанной построчно, как верлибр. Цитаты мне понравились, они звучали резко и оригинально. Через несколько лет я перечитал Пушкина и цитаты из элегий читал уже по-французски. Они лежали в ровных александрийских строчках, застегнутые на все шесть стоп, и казались традиционными и безликими. Я удивлялся: почему это?

Теперь я знаю, почему. У каждого стихотворного размера есть свои смысловые ассоциации: семантический ореол. Поэзия любого содержания в гексаметрах покажется нам стилизацией под античную классику, в александрийских стихах — под французскую классику, в четырехстопных вольнорифмованных ямбах — под Пушкина. А Сент-Бев был романтик, он не хотел стилизоваться под французскую классику. И оказывалось, что русский перевод прозой как бы соответствовал этому его желанию, а перевод «размером подлинника» противоречил ему: уводил мысль читателя по пути ложных ассоциаций.

Но есть один размер, который абсолютно свободен от всяких содержательных ассоциаций, как ложных, так и не ложных. Это свободный стих, верлибр. Он без ритма и рифмы: единственное средство выразительности в нем — членение текста на длинные и короткие строчки. Единственное, но зато тем более ощутимое. Так вот, кто захочет переводить любого поэта, видя в нем представителя его эпохи, его культуры, его традиции, — тот, конечно, обязан переводить его размером подлинника. А кто захочет переводить его как самобытную индивидуальность, как прямого собеседника нынешних читателей, тот будет переводить его без метрической униформы — верлибром. И то и другое желание правомерно: глядя на поэтов в их историческом контексте, мы познаем чужой культурный мир, воображая поэтов наедине с нами, мы познаем самих себя. Не нужно только смешивать одно с другим.

Мы знаем: на Западе давно уже стихи, писанные строгими формами, переводятся верлибрами. Мы знаем: среди таких переводов гораздо больше плохих, чем хороших, и филологи к ним относятся высокомерно: «ни стих, ни проза — так, переводческая лингва-франка», было сказано в одной рецензии. Но это не значит, что верлибр от природы прозаичен, бесформен, невыразителен, однообразен. Он требует такой же сжатости, четкости, необычности слога, как всякий стих. Он не бесформен, а предельно оформлен: в нем каждое слово на счету. Это идеальный аккомпанемент, откликающийся на каждый оттенок смысла (если смысл есть!). Он не однообразен: каждый, кто работал с ним, знает, как в нем словесный материал сам стремится под пальцами оформиться то в стих равнотонический, то, наоборот, в перебойный, то в построенный на параллелизме, то на игре стиховых окончаний и т. д. Верлибр — это такой раствор форм, из которого могут выкристаллизоваться многие и многие размеры, теоретически вообразимые, но практически до сих пор не знакомые русской поэзии. А перевод в поэзии всегда был лабораторией форм.

Конечно, не для всякого перевода хорош верлибр. Лучше всего он служит службу тем произведениям, форма которых или слишком отвлекающе сложна, как у Пиндара, или, наоборот, достаточно привычна, традиционна, устойчива, чтобы опытный читатель держал ее в сознании, читая верлибр. Таковы гексаметры, александрийский стих, октавы, сонеты, драмы, написанные белым стихом (и т. д.), но не свободные лирические формы трубадуров или романтиков. Брюсов писал (в предисловии к драме Верхарна, которую он перевел без рифм): «Шекспир, переведенный прозой, теряет часть своей силы, но Расин в прозе — лишен смысла». Я хорошо представляю себе переведенного верлибром Ламартина, но не представляю Верлена.

Я — филолог-классик, моя специальность — переводы из античных поэтов. Здесь спрос на точность передачи формы — повышенный: я должен знакомить читателей с очень далекой культурой. Размером подлинника я перевел столько поэтов-представителей античной культуры, что решил: а поэтов нового времени я имею право переводить — не для читателей, а для себя — не как представителей, а просто так. То есть вопреки размеру подлинника, верлибром. Все стихи этой книги, за очень немногими исключениями, я начинал переводить для себя: чтобы лучше понять и запомнить. Иногда, если мне казалось, что получается выразительно, я продолжал работу уже для печати: для читателей. Так были переведены Пиндар, Ариосто, Георг Гейм. Ариосто и Гейма я заранее показывал хорошим специалистам. Реакции были одинаковые: при первом чтении — шок, при третьем: «очень интересно!»

Я не переоцениваю перспектив такого перевода. Когда русский Сент-Бев размером подлинника слишком уж похож на русского Расина размером подлинника, то это нехорошо; но если у переводчика не хватит способности разнообразить верлибр, то и Сент-Бев верлибром, и Расин верлибром окажутся похожи на самого переводчика, и это будет еще хуже. Пытаясь избежать этого, я испытывал возможности верлибра на разный лад, — не знаю, удачно ли. Но думаю, что в верлибре, по крайней мере, гораздо легче отличить плохой перевод от хорошего, чем в традиционном стихе, где он закутан в ритм и рифму. Хороший перевод не-верлибра верлибром хоть сколько-то лучше посредственного перевода «размером подлинника», но плохой перевод не-верлибра верлибром бесконечно хуже даже посредственного перевода «размером подлинника». Об этом стоит подумать тем, кто при советском классицизме изо всех сил старался переводить верлибры правильными размерами, а сейчас, польстясь на мнимую легкость, готов на обратное. Впрочем, «хороший — плохой» — понятия не научные. Я хотел только обратить внимание на тот, может быть, крайний случай, когда забота о точности перевода побуждает не воспроизводить размер подлинника, а отказываться от него. Теоретически это очень интересно; мне кажется, что практически тоже.

Отказ от точной передачи стихотворной формы ради более точной передачи образов, мыслей и стиля — это обычный случай закона компенсации в структуре поэтического произведения. По этому пути можно идти и дальше. Ради того, чтобы полнее познать самого себя в зеркале переводимого автора, переводчик может отказаться и от передачи стиля — например, заявить, что наш современник (т. е. он сам) может адекватно воспринять чувства старинного элегика только на языке уличного просторечия. Эзра Паунд (переведенный в этой книге) перелагал так Проперция ради авангардного эпатажа, а некоторые современные переводчики делают это, кажется, от чистого сердца. Я так не умею. Я предпочел коверкать не стиль, а образы и мотивы. Вот тут-то и начинается эксперимент.

Когда переводишь верлибром и стараешься быть точным, то сразу бросается в глаза, как много в переводимых стихах слов и образов, явившихся только ради ритма и рифмы. Илья Сельвинский любил сентенцию: «в двух строчках четверостишия поэт говорит то, что он хочет, третья приходит от его таланта, а четвертая от его бездарности». Причем понятно, что талант есть не у всякого, а бездарность у всякого, — так что подчас до половины текста ощущается балластом. Когда мы это читаем в правильных стихах, то не чувствуем: в них, как на хорошо построенном корабле, балласт только помогает прямей держаться. Но стоит переложить эти стихи из правильных раз-

меров в верлибр, как балласт превратится в мертвую тяжесть, которую хочется выбросить за борт.

И вот однажды я попробовал это сделать. Я переводил «Небесных гончих» Ф. Томпсона, и они казались в верлибре длинней и риторичней, чем в подлиннике. И я решил их отредактировать: не теряя ни единого образа, в балластных местах обойтись меньшим количеством слов — только за счет стиля и синтаксиса. Оказалось, что объем вещи от этого сразу сократился на пятую часть: вместо каждых десяти стихов — восемь. Повторяю: без всяких потерь для содержания. По обычному переводческому нарциссизму это мне понравилось. Я подумал: а что, если сокращать и образы — там, где они кажутся современному вкусу (то есть мне) избыточными и отяжеляющими?

Есть в риторике такое понятие: амплификация. Это значит: развертывание, раздувание, — способы делать из небольшой мысли пространную речь. Большинство стихов сочиняются именно с помощью амплификации. Когда поэтическая культура в расцвете, это ценится, когда наступает смена культур, то именно амплификации первыми начинают раздражать и казаться лишними. Пушкин перевел сцену из Вильсона, «Пир во время чумы»; переводил он очень точно, но из 400 стихов у него получилось 240, потому что все, что он считал романтическими длиннотами, он оставлял без перевода. И такой конспективный перевод очень хорошо вписывался в творчество Пушкина, потому что ведь все творчество Пушкина было, так сказать, конспектом европейской культуры для России. Русская культура, начиная с петровских времен, развивалась сверхускоренно, шагая через ступеньку, чтобы догнать Европу. Романтизм осваивал Шекспира, и Пушкин написал «Бориса Годунова» — длиной вдвое короче любой шекспировской трагедии. Романтизм создал Вальтера Скотта, и Пушкин написал «Капитанскую дочку» — длиной втрое короче любого вальтер-скоттовского романа. Романтизм меняет отношение к античности, и Пушкин делает перевод «Из Ксенофана Колофонского» — вдвое сократив оригинал. Техника пушкинских сокращений изучена: он сохраняет структуру образца и резко урезывает подробности. Я подумал: разве так уж изменилось время? Русская литература по-прежнему отстает от европейской приблизительно на одно-два поколения. Она попрежнему нуждается в скоростном, конспективном усвоении европейского опыта. Разве не нужны ей конспективные переводы — лирические дайджесты, поэзия в пилюлях? Тем более что для конспективной лирики есть теперь такое мощное сокращающее средство, как верлибр.

Я не писатель, я литературовед. Новейшую европейскую поэзию я знаю плохо. Я упражнялся на старом материале: на Верхарне, Анри де Ренье, Мореасе, Кавафисе. Верхарна и Ренье я смолоду

не любил именно за их длинноты. Поэтому сокращал я их садистически — так, как может позволить только верлибр: втрое, вчетверо и даже вшестеро. И после этого они моему тщеславию нравились больше. Вот одно из самых знаменитых стихотворений Верхарна: сокращено вчетверо, с 60 строк до 15. Оно из сборника «Черные факелы», называется —

ТРУП

Мой рассудок мертв —
В гложущем саване он плывет по Темзе.

Над ним стальные мосты,
Лязги поездов, тени парусов,
Красный циферблат с застывшими стрелками.

Мой рассудок мертв,
Не вместив желания все понять.

Мимо стен, где куются молнии,
Мимо мутных фонарей в узких улицах,
Мимо мачт и рей, как кресты Голгоф.

Мой рассудок мертв,
Он плывет в погребальный костер заката,

Сзади — город вздымает дымы,
Вокруг — волны, глухие, как набаты,
Впереди же — бесконечность и вечность
Всем, кто мертв.

Вот для сравнения точный его перевод — старый, добросовестный, Георгия Шенгели:

В одеждах, цветом точно яд и гной,
Влачится мертвый разум мой
По Темзе.

Чугунные мосты, где мчатся поезда,
Бросая в небо гул упорный,
И неподвижные суда
Его покрыли тенью черной.
И с красной башни циферблат,
Где стрелки больше не скользят,
Глаз не отводит от лица
Чудовищного мертвеца.
Он умер от желанья знать,
От страстной жажды изваять
На цоколе из черного гранита
Для каждой вещи лик идеи скрытой.

Он умер, в сердце восприяв
Сок познавательных отрав.
Он умер, пораженный бредом,
Стремясь к величьям и победам,
Он раскололся в пьяный миг,
Когда вскипел закат кровавый,
И над его главой возник
Орлом парящим призрак славы.
Не в силах более снести
Жар и тоску смятенной воли, —
Он сам себя убил в пути
В цепях невыносимой боли.

Вдоль траурных замшенных стен,
Вдоль верфей, где раскат железный
Тяжелых молотов вещает вечный плен,
Влачится он над похоронной бездной.
Вот молы, фабрик алтари,
И молы вновь, и фонари, —
Прядут медлительные пряхи
Глухое золото в тоске и страхе.
Вот камня вечная печаль,
Форты домов в уборе черном,
Закатным взглядом, скучным и покорным,
Их окна смотрят в сумрачную даль.
Вот верфи скорби на закате,
Приют разбитых кораблей,
Что чертятся скрещеньем мачт и рей
На небе пламенных распятий.
В опалах мертвых, что златит и жжет
Вулкан заката, в пурпуре и пемзе
Умерший разум мой плывет
По Темзе.

Плывет на волю мглы: в закат,
В тенях багровых и в туманах,
Туда, где плещет крыльями набат
В гранит и мрамор башен рдяных,
И остается сзади град
Неутолений и преград.

Покорный неизвестной силе,
Влачится труп уснуть в вечеровой могиле,
Плывет туда, где волн огромный рев,
Где бездна беспредельная зияет
И без возврата поглощает
Всех мертвецов.

Сокращения такого рода вряд ли могли быть сделаны без помощи верлибра. Однообразие приемов легко заметить: выбрасываются связующие фразы, выбрасываются распространяющие гла-

голы, сохраняются преимущественно существительные, а из существительных удерживаются предметы и выпадают отвлеченные понятия. Со стихами, в которых предметов мало, а отвлеченных понятий много, такие эксперименты получаются хуже. Боюсь, что таковы получились в переложении, например, романтические элегии. Я не знаю, неизбежен такой номинативный стиль при сокращении или нет. Но я знаю, что и в обычных, традиционно полномасштабных переводах имена существительные подлинника сохраняются в переводе в полтора-два раза старательнее, чем прилагательные и глаголы. Содержание стихотворения опознается прежде всего по существительным — или, проще говоря, читателю важнее, *о чем* говорится в произведении, нежели *что* в нем говорится. Если скажут, что конспективные переводы такого рода годятся только для предварительного ознакомления читателя со стихами, я не буду спорить. Все мы в первый раз читали и «Робинзона», и «Гулливера», и «Гаргантюа» по сокращенным пересказам; я помню адаптированные издания и Вальтера Скотта, и Гюго, и честное слово, дух подлинника в этих сокращениях сохранялся.

Мне не хотелось бы, чтобы эти упражнения выглядели только литературным хулиганством. В истории поэзии такие переработки появляются не впервые. Когда александрийские поэты III в. до н. э. стали разрабатывать камерную лирику вместо громкой, то они брали любовные темы у больших лириков-архаиков и перелагали в короткие и четкие эпиграммы, писанные элегическим дистихом. В этом была и преемственность и полемичность. Такая стилистическая полемика средствами не теории, а практики была в античности привычна: если Еврипиду не нравилась «Электра» Софокла, он брался и писал свою собственную «Электру» (современный литератор вместо этого написал бы эссе «Читая “Электру”»).

Разумеется, ни мне, ни кому другому не придет в голову полемизировать от своего имени с поэтом Лермонтовым или поэтом Верхарном. Но полемизировать от имени современного вкуса против того вкуса риторического романтизма или риторического модернизма, которыми питались Лермонтов и Верхарн, — почему бы и нет? Если мы не настолько органично ощущаем стиль наших предшественников, чтобы уметь подражать им, как аттицисты аттикам, — признаемся в этом открыто, и пусть потом наши потомки перелицовывают нас, как мы — предков (если, конечно, они найдут в нас хоть что-то достойное перелицовки).

Можно ли утверждать, что именно лаконизм, минимализм — универсальная черта поэтики XX века? Наверное, нет: век многообразен. Но это черта хотя бы одной из поэтических тенденций этого века — той, которая восходит, наверное, к 1910-м гг., когда начинали имажисты, и Эзра Паунд написал знаменитое стихо-

творение из четырех слов — конденсат всей раннегреческой лирики вместе взятой: «Spring — Too long — Gongyle» (Гонгила — имя ученицы Сапфо, затерявшееся в ее папирусных отрывках). Краткость ощущалась как протест против риторики — хотя на самом деле, конечно, она тоже была риторикой, только другой. Впрочем, задолго до Паунда у самого Лермонтова такое стихотворение, как «Когда волнуется желтеющая нива...», было не чем иным, как конспектом стихотворения Ламартина «Крик души»: та же схема, та же кульминация, только строже дозированы образы, и оттого текст вдвое короче. Впрочем, краткость краткости рознь, и не от всякой стихотворение приобретает вес. Марциал писал другу-поэту:

Те лишь стихи коротки, где не сыщется лишнего слова,
А у тебя, мой дружок, даже двустишья длинны.

При обсуждении этих переводов было замечено, например, что Верхарн в них становится похож на молодого Элиота. (На мой взгляд, скорее на Георга Гейма.) Это, конечно, дело субъективных впечатлений. Важнее другое: вероятно, если два переводчика-сократителя возьмутся за одно и то же стихотворение, то у них получатся два совсем разных сокращения: один выделит в оригинале одно, другой другое, и каждый останется самим собой. И очень хорошо: я уже сказал, что через перевод размером подлинника мы ищем познать переводимого поэта, через перевод верлибром — познать самих себя.

А мне лично как литературоведу интереснее всего такой вопрос. Можно ли вообще считать получающиеся тексты переводами? Идейное и эмоциональное содержание оригинала — сохранено. («Нет, — возразили мне, — от сокращения эмоция становится сильнее». Может быть.) Композиционная схема — сохранена. Объем — резко сокращен. Стиль — резко изменен. Стих — изменен еще резче. Много убавлено, но ничего не прибавлено. Достаточно ли этого, чтобы считать новый текст переводом старого, пусть вольным? Или нужно говорить о новом произведении по мотивам старого? Для этого есть хорошее немецкое слово Nachdichtung, но точного русского перевода для него не существует. Здесь есть возможность для многих праздных разговоров — но, конечно, не сейчас.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ОДЫ

Ода Пиндара (470 г. до н. э.) написана очень сложным лирическим размером, складывающимся в повторяющиеся «триады» — строфу, антистрофу и эпод; начала их отмечены на правом поле. Ода обращена к сиракузскому тирану Гиерону и его сыну Диномену, правителю новооснованного города Этны невдалеке от известного вулкана, под которым, считалось, казнится чудовищный Тифон, символ мирового хаоса, укрощенного богами; так и Гиерон с братьями победил финикийцев и тирренов при Гимере и Кумах, эти победы сравниваются с афинскими и спартанскими победами над персами («мидянами») при Саламине и Платее («Кифероне»). Гиерон тяжело болел, поэтому он сравнивается с больным Филоктетом, сыном Пеанта, без которого, однако, греки не могли победить Трою. Гераклиды — род, из которого вышли спартанские цари; законы Этны были написаны по образцу спартанских.

Ода Ронсара (1550) тоже написана триадами, но более простыми размерами и короткими строками: в подлиннике строфы имеют по 12, 12 и 10 строк, в переводе они смогли стать короче. Она длинная, как поэма, поэтому некоторые триады в переводе пропущены. Ода обращена к канцлеру Мишелю Лопиталю, приближенному Маргариты Беррийской, дочери Франциска I, известному гуманисту, тщетному примирителю религиозных войн. Морелю д'Амбрен (с его женой Антуанеттой, хозяйкой литературного салона) Лопиталь поручил потом помирить Ронсара с его «завистниками», на которых он так злится. Основная часть оды — апофеоз поэтического вдохновения по Платону, возносящего душу в мир вечных идей; четыре обуянности, о которых речь, — безумия профетическое, мистическое, поэтическое и эротическое. Начальная часть оды — по мотивам Гесиода и Гомера, но и с упоминанием Фалесовой идеи, что все в мире — от воды.

«Ликид» Мильтона (1637) — это разностопный ямб, привычный в английском барокко. Но когда Мильтон писал свою «монодию» на смерть молодого Эдварда Кинга, то одним

этим термином он назвал свои образцы — Пиндара и Симонида, этих зачинателей поэзии торжественного плача. И я попробовал перевести «Ликида» не так, как Мильтон его написал, а так, как он хотел его написать: стихом и стилем античной мелики. Ликид и другие имена — из буколик; сицилийская Аретуза (бежавшая от Алфея) и мантуанский Минций — реки, возле которых родились Феокрит и Вергилий. Гиппотад — бог ветров Эол; Панопея — морская нимфа; над рекой Гебром вакханки растерзали Орфея, и голову его унесло к Лесбосу, острову поэтов. Кэм — речка, на которой стоит Кембридж, где учился Кинг; Мона — остров Мэн в Ирландском море, Дэва — речка Ди; Гебриды — к северу от Ирландского моря, а Беллер с горой св. Михаила, глядящей в сторону Бретани, — к югу от него. Галилейский кормчий — конечно, св. Петр: стихи писались, когда уже сгущалась гроза пуританской революции.

«Патмос» Гельдерлина (1803) об апостоле Иоанне, интересен как синтаксический эксперимент: он написан бесконечно длинными предложениями, с нарочитой странностью переламывающимися о стихоразделы. Такой «антисинтаксический» стих, модный в XX веке, давался мне трудно, и я попробовал его только в этом стихотворении. Но к концу все равно стал сбиваться на синтаксический. Большое спасибо Г. И. Ратгаузу, помогавшему мне в работе над трудным текстом.

«Небесные гончие» Фрэнсиса Томпсона (1893), английского poète maudit — хрестоматийный образец той викторианской (или антивикторианской) религиозной поэзии, которая теперь и в Англии мало кем читается. Кажется, на русский язык эти стихи не переводились. Номера строк на левом поле в «Ликиде» стояли реже, чем в подлиннике: многие строки приходилось в переводе разламывать для интонационной выразительности; в «Небесных гончих» они стоят гуще, чем в подлиннике: перевод конспективнее и на треть короче, но я настаиваю, что ни один образ в нем не потерян: экономия — только за счет соединительной ткани.

Пиндар

ПЕРВАЯ ПИФИЙСКАЯ ОДА
(«Этна»)

Гиерону Этнейскому, отцу Диномена,
на победу в колесничном беге

Золотая лира, *с. 1*
Единоправная доля
Аполлона и синекудрых Муз!
Тебе вторит пляска, начало блеска;
Знаку твоему покорны певцы,
Когда, встрепенувшись, поведешь ты замах к начинанию хора;
Ты угашаешь
Молниеносное жало вечного огня,
И орел на скипетре Зевса
Дремлет, обессилив быстрые два крыла,
Орел, царь птиц: *а. 1*
На хищную голову его
Пролила ты темную тучу,
Сладкое смежение век,
И во сне
Он вздымает зыбкую спину,
Сковываемый захватом твоим.
Сам насильственный Арес,
Отлагая жестокое острие копья,
Умягчает сердце
Забытьем, —
Ибо стрелы твои
Отуманивают и души богов
От умения сына Латоны
И глубоколонных Муз.

А кого не полюбит Зевс, — *э. 1*
Тот безумствует пред голосом Пиерид
И на суше, и в яростном море,
И в страшном Тартаре,
Где простерт божий враг — стоголовый Тифон,
Некогда вскормленный киликийской многоименной пропастью,
Ныне же Сицилия и холмы над Кумами в ограде валов
Давят его косматую грудь,
И привязь его —
Снежная Этна,
Столп небес,
Вечная кормилица режущих бурь,

Этна, чьи недра — *с. 2*
Чистейший потоп неподступного огня,
Чьи потоки
Хлещут в белый день валами пара,
А в ночах
Красное пламя с грохотом катит скалы к просторам пучин.
Это от ползучего чудища
Бьет ввысь страшная Гефестова струя, —
Диво на взгляд, диво на слух,
Как он вкован в Этну *а. 2*
Меж подошвой и вершиной в черной листве,
И как рвет ему опрокинутую спину
Острое ложе.

О Зевс,
Быть бы мне любимым пред тобою —
Пред тобою, правящим эту высь,
Лоб многоплодной земли,
По имени которой
Славный зиждитель
Возвеличил ближний город,
Когда в пифийском беге выкликнул глашатай
Гиерона,
Благопобедного меж колесниц.
Плавателю первая радость — *э. 2*
Попутный ветер от пристани,
Ибо в нем — надежда на лучший возврат.
Если должно судить по схожей судьбе —
Быть твоему городу славным в венках и скакунах,
Именитым в песенных праздниках.
Ликиец Феб,
Царящий над Делосом, влюбленный в Кастальский Парнас,
Пожелай этой доли в сердце своем
Краю лучших мужей.

От богов рождены *с. 3*
Все свершения смертных доблестей:
Все, кто мудр, все, кто силен, все, кто речист.
В жажде хвалить героя
Да не вылетит за черту борьбы
От толчка моих рук медនощекий дрот —
Пусть бьет в цель, перестигнувши соперников!
Если время будет вечно, как сейчас,
Править ему обилие и доход,
А от муки пошлет ему забвение, —

Запомнит Гиерон, *а. 3*
В скольких войнах сколькие битвы
Выстоял он испытанною душою,
Меж тем как божья ладонь
Несла ему честь, какой не срывал никто из эллинов:
Высокий венок богатств.
Словно Филоктет,
Шел он на битву, —
И гордецы, теснимые неволею,
Льстились ему в друзья.
Так богоравные герои
Плыли, чтобы с Лемноса залучить
Сына Пеанта, *э. 3*
Сокрушителя Приамовой Трои,
Завершителя данайских трудов.
Бессильно ступал он, но в нем был рок.
Так и Гиерону
Бог-направитель
В подкрадывающиеся годы
Приведи достигнуть всего желанного!

Муза,
Будь мне послушна
И пред Диноменом
В громе о награде победной четверни!
Слава отца — не чужая сыну.
Милую похвалу
Мы приищем этнейскому владыке,
Которому Гиерон *с. 4*
Воздвиг этот город
В его богозданной вольности
По законам, положенным Гераклидами, —
Ибо племени Памфила и Гилла
Под Тайгетскою крутизной
Вечно угодны дорийские уставы Эгимия;
Встав из-под Пинда,
В счастье своем держали они Амиклы,
В славе своей соседствуя Тиндаридам на белых конях,
И молвою цвели их копья.

Вершитель Зевс, *а. 4*
Утверди в неложном людском суде
Вечно такую судьбу
Гражданам и владыкам над влагою Амена!

Твоею заботою
Вождь, вверяющий сыну возвеличенный народ,
Да обратит его к согласному миру!
Мановением твоим, Кронион,
Да пребудут в усмиренных домах
И финикиец, и тирренский плач,
Познавши при Кумах
Сокрушение, от которого стонали суда,
Познавши страсть *э. 4*
От Сиракузского укротителя:
С быстрых кораблей
Обрушил он в пучину их юношество,
Из-под бремени рабства выволокши Элладу.
Саламином
Я стяжал бы милую мзду от афинян,
В Спарте
Я сказал бы о битве перед Кифероном, —
Ибо в тех боях
Изнемогли мидяне с гнутыми луками;
А у берега славных Гимерских вод
Я сложил бы хвалу
Сынам Диномена,
Чтобы им она причлась по их доблести
Над склоненным врагом.

Если в пору сказано слово, *с. 5*
Если многое пытано и в малое сжато,
Дальше от следов твоих будет людская хула.
Пагубное пресыщение
Сламывает острие торопливой надежды,
Слух о чужих подвигах
Больно ложится на скрытные умы.
Пусть!
Лучше зависть, чем жалость:
Хорошего держись!
Кормилом справедливости правь народ,
Под молотом неложности откуй язык:
Самая малая искра велика, *а. 5*
Излетая от тебя.
Ты над многими судия,
Пред тобою многие верно говорят и вправо и влево, —
Но если дорога тебе сладкая молва,
То в цветущем своем пылу
Не истощись щедростью:

Как кормчий муж, разверни под ветром твой парус,
Не поддайся, друг, льстивым корыстям:
Гордая слава
За спиною смертных
Одна открывает сказителям и певцам э. 5
Бытование отошедших.
Не умирает благомысленная доблесть Креза,
А безжалостно жгущий медным быком
Фаларид повсюду постигнут ненавидящей молвою,
И лиры у очага
Не приемлют его
В кроткую общность отроческих песен.

Добрый успех — первая награда,
Добрая молва — вторая доля;
А кто встретил и принял обе —
Тот стяжал себе высочайший венец.

П. Ронсар

КАНЦЛЕРУ ЛОПИТАЛЮ

На Диркейских берегах, на лугах с. 1
Харит, расцвечивающих стихи мои,
Я сбираю краснейшие цветы,
Чтобы свить из них тщательными перстами
Троекруглый фивский венок
В честь и славу божественного любимца,
Сведшего к нам с небес
Девять дщерей Элевферийской Памяти —

Мать же Память их понесла а. 1
Девятью же лобзаниями Юпитера,
А когда скиталица Луна двенадцать раз
На кругу своем выгнулась, двулобая,
Светом в тьму, то под Олимпийской горой,
Вскрикнув болью к Луцине,
Родила она девятерых сестер
Единым чревом —

И небо в них впело э. 1
Вечную песню,

Приласкав их губы
Аттическим медом,
Чтоб пеклись вовеки
О льстящих слуху
Стихах, в которых
Чары божеские и людские.

А когда прокатилось семь лет, с. 2
Обуяло юных кровное желание
Лицезреть их природного отца —
И обвивши в девять и девять
Нежных рук
Горделивую шею матери,
Умолили светлые голоса
Предвести их пред лицо их родителя.

Мать же Память, расплетя их объятия а. 2
И лобзая их одну за другой,
Прилелеивает их на груди,
Выдыхая томное слово,
Ибо волновалась ее душа,
Скорое их предведая счастье
Изблизи узреть мощь
Бога, возвышенного их сеятеля.

И увив их кудри э. 2
Фьялковыми венками,
Препоясав ткани
Над легким шагом,
Повела она юных
Быстрым сонмом
Сквозь дни и ночи
Ко святым брегам Эфиопии.

А как девы, в путевом труде с. 3
Неискусные,
Увидевши ярый океан,
В страхе отпрянули,
Как под ветром береговой тростник,
То любящая их мать
Трепещущую их грудь
Обнадежила окрыленным словом:

«Смелей, а. 3
Дочери мои и всесильного

Бога, в чьей бессмертной деснице
Рдяный перун:
Над хребтами ревущих волн
Еще грянут ваши укрощающие песни,
И над пучинным царством
Встретит вас державный отец».

И длинным взлетом *э. 3*
Скользнула в пену,
Как белый лебедь
Пред орлиным взмахом
И как радуга с высей,
Когда Юнона
Устремляет Ириду
С вестью для смертных.

И вслед пролагавшей след *с. 4*
По гребням вздувшихся вод,
Потупив лбы, окунувши взор
В соленое лоно зыбей,
Пустились юные
Меж смерчей, взметавшихся до небес,
В рыкающую пасть
Алчущей их пучины.

Распростерши белые руки, *а. 4*
Взрыли они зеленые
Пажити океана,
И как свинец тянет невод вглубь,
Так желание зреть отца
Низвело их к подводным вратам
Тех обителей, где отец Океан
Пировал в честь их вышнего родителя.

У тех вечных врат, *э. 4*
У тех больших столпов,
В шелесте вод
Высилась колесница
О зеленой финифти,
В ночь и в день
Дважды обегающая мир
Водным приливом и отливом

В тех водах запечатлела Природа *с. 5*
В тысячах тысяч сосудцев

Семена всего сущего на свете;
Из тех вод Тритоны
Гонят реки в земные русла;
К тем чертогам и притекли пришелицы
В час, когда Портумн на пиру
Оплеснул уже стол второю скатертью.

И уже за тем столом Аполлон *а. 5*
Разгонял заботы бессмертных,
Сопрягая смычок с отрадным пением,
Когда вышний Отец оборотил
Взор на сонм, засиявший у порога,
Благородством, прелестью и красой
Изъявлявший знак
Своего высокого порождения.

И радуясь видеть *э. 5*
Свою породу,
Он простер к ним длани,
Он объял их лобзаньем
И в усладу пиру
Повелел грянуть
Девяти устам
Светлую песню.

И девять, дохнувши в воздух *с. 6*
Ароматами ста Аравий,
По тончайшей струне Делийца
Повели одушевленную песню
О Минерве и о Кроновом сыне:
Как она явила миру оливу,
А он — ржущего коня,
Знаменье грядущей войны;

И об адамантовой наковальне, *а. 6*
Девять и девять дней
Измерявшей путь от неба до ада,
Чтобы обомкнуть Тартар
Медным оплотом стен
На три полета ночи,
Над которыми высится Атлант,
Выгнув выю под гнетом тверди.

А в зеве той бездны *э. 6*
Мятутся сонмы

Бунта, битого
Гигантоборцем,
Которого перун
Злых бьет в лет,
Как ярое копье
Витязя на скаку.
. . . .

И Юпитер, склоняя слух *а. 10*
К несравненному пению поющих,
Посмеявшись шумному сну
Поникшего у копья
Очарованного песнями Марса, —
Чередой облобызав дочерей, —
Повелел им просить любого дара
По достоинству петых песен.

Припали девы *э. 10*
Правыми к его коленям,
Левыми к его бороде,
Но были немы
Пред отчим суровым ликом;
И тогда Каллиопа
Одна за всех
Молвила к нему слово.

Молвила: «Даруй, отче, песням *с. 11*
Сладости превыше, чем сладость,
Даруй, чтобы нимфы полей,
Гор, и рек, и рощ, и скал, и гротов
Ликовали на наших тропах;
Даруй в нашу власть
Божественный сонм пророков —
Песнопевцев, вещателей, прорицателей.

Даруй нашим песням *а. 11*
Чудотворство и чарование,
Даруй им гласить божью волю,
Осени нас двойною благодатью:
Дай попрать ненавистный ад
И провидеть круги небесных светочей,
Дай исхитить души из смрадных тел
И родить их вновь в их обителях.

Даруй: пусть *э. 11*
Цари и князья,

Чтящие нас,
Чтимые нами,
Будут, как боги
В своих народах,
Шествуя ли в триумфе,
Над скрижалями ли законов».

Таково было их моление, *с. 12*
Коленопреклоненное,
И единым наклоном головы
Внял ему великий Юпитер,
И прорек: «Когда бы от всех
Жен мне были такие всходы,
Я вменил бы в ничто Юнонин гнев,
Мне родивший и хромого, и буйного,

Ибо вы мне любезней моих зениц, *а. 12*
А посеял я вас на радость
Смертным и богам,
Чтобы вы возвестили миру
Мою славу и вашу честь:
Ваше дело выше всякого дела,
И оно
Да не рабствует тщетному научению:

Правит наука *э. 12*
Плавателем в море,
Витией в преньи,
Царем во брани,
Кователем у горна,
Но кто от нее волен, —
Лишь на том почиет
Святое мое безумье!

Как магнитный дарует адамант *с. 13*
Свою силу тронутому железу,
А оно другому, другое третьему, —
Так мой взвевается дух
В Фебе, а Фебов в вас,
А ваш в боговдохновенных
Певцах, и восторженные они
Восторгают внемлющие им толпы.

И да не помыслят неразумные, *а. 13*
Что и впрямь

Не восторгом, а низменным научением
Ваше движимо горнее ремесло,
На четыре разъятое неистовства —
Тайновидческое, пророческое, любовное
И творящее, в четверной черед
Сотрясающие людские умы:

От силы моей, *э. 13*
Как вышний перун,
Святое летит
Безумье в сердца
Отрясших порок,
Облекшихся в чистоту:
Божьи дары
Не для скаредных душ.

И когда на вас низлетит *с. 14*
Восторгающее мое безумье, —
Встрепещите, покорные сердца,
Телом и духом,
Возликуйте,
Как Святая Дева во храме,
Исполняясь Божеских тайн
Без науки, и труда, и усилья.

Но блюдите выше всего *а. 14*
Те вместилища моих дарований,
Те сосуды смертных сердец,
От греховной нечистоты
Омывая их сладкою водою,
Чтобы восторгаемый дух
Ярую вспел песнь,
Ароняя ее в людские души.

Кто поет без бога, *э. 14*
Того песнь вдовеет
Красой и величьем,
У того родятся
Насильной волей
Выкидышные строки,
Ибо стих — от бога,
А не от людских тщаний.

Милостию моею *с. 15*
Быть моим песнетворцам

Толкователями божеской воли;
Ославят их невегласы
Безумцами и глупцами;
Но вечно их лику предыдет
Некий помощный демон,
Встречную отстраняя неправду.

В путь же, о моя поросль, *а. 15*
Вечная хвала моя и слава,
Пенные попирая просторы,
Буйному навстречу невежеству!
В путь под водительную руку
Того, чья мудрость
Эллинским ужасом и римским
Расточит непросвещенное полчище!»

Это промолвив, *э. 15*
Круглым вздохом
Бог в них вдунул
Божеский дух,
Бог им вверил
Меркуриеву лютню,
И по ревущим водам
Прянули девы прочь.
....

Отчий окруживши престол, *с. 19*
В лад единокровному Фебу
Пели они Юпитерову мощь,
И не было без них у богов
Ни чинной свадьбы, ни пляски.
Когда же настал им срок
В подлунный воротиться мир,
То нисшел Юпитер

С горнего своего престола *а. 19*
И низвел их в важный покой,
Где Парки, дочери Ночи,
Препоясанные под грудь,
Белую осеняя
Седину додонской листвой,
Пряли в кругу,
Восседая на трех квадратах.

Были остры
Медным жалом
Их веретена,
Была пред ними
Кудель людских
Жизненных дней,
Долгих и недолгих,
Вверенных Судьбам. *э. 19*

Выпрядали трое сестер
Под шепот заклинающих чар
Грядущего пряжу Лопиталя,
И Клото девять раз пролепетала:
«Лучшей жизни
Не свивали персты мои вовек!» —
И Судьба вручила ту жизнь
Отпрыску Сатурна и Реи. *с. 20*

Радостной Юпитер рукой
Изваял из кома земли
Лик, и тело, и ноги, и очи,
Две руки, два бока и грудь,
И вдохнул в него дух из божьих уст,
И ста тысячами одарил добродетелей,
И воззвал к девяти певицам,
Обставшим новозданный образ: *а. 20*

«Избудьте страх,
Ибо сей — вам вождь,
Которого длань
Вас хранит от бедств,
И в нем зарок
Ученых побед
Над ратным станом
Невежества». *э. 20*

И рассекши морскую хлябь,
Указуя путь,
Устремился к большой он земле,
А они, в выси, вслед за ним,
Лебединой, журавлиной станицею.
И когда низошли они на сушу,
Грянул слева огненный знак
Добрым вестником их прибытия... *с. 21*

Но, Муза моя, *а. 21*
Что за ветер сбил с пути мой корабль?
Правь ко брегу, моя питательница,
Там простер к тебе очи наш Морель,
Ждущий тебя приветить,
Там тебя призывает к верной пристани
Нимфа Антуанетта,
Чей взор как счастливая звезда.

Поторопись же *э. 21*
Сложить мне песню,
Чтобы смолкла Зависть,
Которая рвется
В морской бездне
Потопить мое имя,
Но оно всплывает
Над зыбью к свету!

Не склоню чела перед злобою: *с. 22*
Горько внушать презренье —
Но радостно внушать зависть!
Ведаю, что твои труды,
Вкованные у порога Счастья,
Освятятся в веках бессмертием, —
А выкидыши самоснедающей
Зависти не выживут и трех солнц!

Выплети же, моя лира, *а. 22*
Песню сладкому твоему заботнику!
Ни горы не помеха, ни море
Гласящему почесть честным!
Дерзкою хочу я рукою
Гимн устремить, как дрот,
О том, кто премудр и доблестен
Во славу моим стихам!

Семь языков *э. 22*
У лиры моей:
Нелжив их звон,
Высока их песнь
Тому, кто светом,
Верой и правдой
Опередил
Былые века.

Вновь он вывел пред миром *с. 23*
Благодатный хор Пиерид,
Своим украсив их словом,
То в мерных, то в вольных стопах;
Кто любит девятерых сестер,
Тем истинный от него почет,
Их сладости ему в сладость,
Их подвиги в его деснице.

Краса французских небес, *а. 23*
Над суровыми он законами
Лелеет аттический мед;
Святые в руке его весы,
И на них сомненная тяга —
Не выше и не ниже, чем должно;
Незыбким и некорыстным оком
Над правыми он бдит и неправыми.

Франция видит: *э. 23*
Стрела моя метит
В достохвальную цель.
Предам ли доблесть,
Умолчав его славу
И не простерши
Имя его
Над широким миром?

Каждому своя забота, *с. 24*
А твоя — лишь правда и благо;
Не это ли уследив,
Царская сестра Маргарита
Доброго возвысила к доброй?
Франциск, озлативший Францию
Златом латинским и эллинским,
Державный усмиритель гельветов,

Лучшего не посеял сева, *а. 24*
Нежели бессмертный цветок
Той, на кого дивится
Круглое небо
Очами возвышенного свода,
Той, для которой
Мой дерзкий стих
Воспрославит ее троянский корень!

Но песенный завет э. 24
Гласит певцу:
Слишком долго
Тянутся складки
Гордой песни,
И вот я рвусь
К тебе, твой слух
Этою усладить
Одой.

Дж. Мильтон

ЛИКИД

В этой монодии сочинитель оплакивает ученого друга, несчастным образом утонувшего в плавании из Честера через Ирландское море в год 1637. По сему случаю предсказывается конечное крушение развращенного клира, бывшего тогда в силе.

Вновь, о лавры
Вновь, о темные мирты
И ты, неопалимый плющ,
Я срываю плоды ваши, терпкие и горькие,
И негнущимися пальцами
До срока отрясаю вашу листву.
Едкая нужда,
Драгоценная мне скорбь
Не в пору гонит меня смять ваш расцвет:
Умер Ликид,
До полудня своего умер юный Ликид,
Умер, не оставив подобных себе,
И как мне о нем не петь?
Он сам был певец, он высокий строил стих,
Он не смеет уплыть на водном ложе своем,
Не оплаканный певучею слезою.

Начните же, сестры,
Чей источник звенит от Юпитерова трона,
Начните, скользните по гулким струнам!
Мнимо-уклончиво, женски-отговорчиво
Так да осенит удавшимся словом
Нежная Муза
Урну, назначенную и мне!

Пусть оглянется он в своем пути
И овеет миром черный мой покров,
Ибо вскормлены мы с ним на одном холме,
И одно у нас было стадо, и ручей, и сень, и ключ;
С ним вдвоем, когда вышние пажити
Открывались разомкнутым векам солнца,
Шли мы в поля и слышали вдвоем
Знойный рог кружащего шмеля
И свежею росою нагуливали стада
Подчас до поры, когда вечернюю звезду
Взносил поворот убегающих небес,
А в сверленом стволе
Не молкли луговые напевы,
И сатир шел в пляс, и двухкопытный фавн
На ликующий тянулся звук,
И старик Дамет любил наши песни.

Но все уже не так. Тебя нет, тебя нет,
И больше не будет никогда.
О тебе пастухи, о тебе леса, о тебе
Опустелые пещеры, заросшие тимьяном и лозой,
Плачут глухими отголосками.
Ива и зеленый орешник
Больше твоим
Не повеют нежным песням радостными листьями.
Как розе тля,
Как ягненку на пастбище язвящий клещ,
Как мороз цветам в наряде их красы
Той порой, когда белеет боярышник, —
Такова, Ликид,
Пришлась пастухам твоя утрата.

Где вы были, нимфы, когда невнемлющая глубь
Обомкнула любимого Ликида?
Не играли вы на той крутизне,
Где покоятся былые барды и друиды,
Ни на вздыбленных высях Моны,
Ни у Дэвы, плещущей вещей волной, —
Но к чему мечта?
Разве были бы вы сильны помочь ему?
Нет, — как Муза, как Орфеева мать,
Не сильна была чародеющему сыну
В час вселенского плача природы,
Когда с черным ревом неистовый сонм
Бросил вплавь окровавленный его лик
Вниз по Гебру и к Лесбийскому берегу.

Зачем он неутомимо
Правил пастушью свою недолю,
Острый ум устремляя к нещедрым Музам,
А не так, как все,
Под сенью резвился с Амариллидою
Или с прядями кудрявой Неэры?
Слава,
Последняя слабость возвышенного ума,
Шпорит ввысь благородный дух
От услад к трудам,
Но когда уже светлая награда впереди
Ждет взорваться стремительным сиянием, —
Слепая Фурия постылым резаком
Рассекает тонкую пряжу жизни.
Но нет —
(Это Феб звучит в трепетном слухе моем) —
Слава — цветок не для смертных почв:
Не в мишуре идет она в мир, не в молве она стелется вширь,
А живет в выси
В знаке ясных очей всерассудного Юпитера,
И каков его последний обо всем приговор,
Такова и слава ждет тебя в небесной мзде.

Верь, чтимая Аретуза,
И тихий Минций в венце певчих тростников:
Это высочайшая прозвенела мне струна!
Но дальше, моя свирель!
Вот морской трубач предстал во имя Нептуново
Вопросить волны, вопросить преступные ветры:
Что за невзгода
Нежному была погибелью пастуху?
И каждый из крутокрылых,
Дующих с каждого острия суши,
Ответил ему: «Не знаем!»
Мудрый Гиппотад
Принес их ответ, что ни единый порыв
Не вырвался из его узилища,
Что тих был воздух,
И скользящая Панопея
С сестрами играла на кромке песка.
Это челн,
Роковой и вероломный,
В час затменья сколоченный, черными проклятьями снащенный,
В бездну погрузил священное твое чело.

Следом медленной стопой притекает чтимый Кэм,
Плащ его космат, из осоки его колпак,
Смутные образы на нем, а по краям
Выписана скорбь, как на том кровавом цветке;
«Кто отнял, — воззвал он, — лучшую надежду мою?»
И последним шел и пришел
Галилейский кормчий,
Ключарь о двух мощных ключах, —
(Отворяет золотой, замыкает железный) —
Он сотряс свои увенчанные кудри,
Он сказал:
«Рад бы я сберечь тебе юного,
Видя тех, кто чрева ради вкрадывается в стадо,
Кто рвется к пиру стригущих,
Оттирая званых и достойных,
Чьи губы слепы,
Кто не знает ни держать пастуший посох,
Ни иного, что довлеет верному пастырю!
Что нужды им и до чего нужда им?
Песни их, скудные и нарядные,
Чуть скребутся сквозь кривые их свирели,
Овцы их, голодные, смотрят в небо,
Пухнут от ветра и гнилого тумана,
И зараза, выедая их, расходится вширь,
А черный волк о скрытых когтях
Походя пожирает их день за днем,
И двурукое оружие у двери
Готово разить, но никого не разит!»

Воротись, Алфей,
Грозный глас, претивший тебе, умолк.
Воротись, Сицилийская Муза:
Воззови к долинам, и пусть они принесут
Цветы в стоцветных венчиках лепестков.
Вы, низины, нежным полные шепотом
Листьев, непутевых ветров, льющихся ручьев,
Свежих, редко зримых смуглой звезде, —
Бросьте сюда
Ваши очи, яркие, как финифть,
Из зеленой травы пьющие медовый дождь,
Вешним цветом обагряющие землю:
Торопливый первоцвет, умирающий забытым,
Хохлатый лютик и бледный ясмин,
Белую гвоздику и сияющую фьялку,
В черной ряби анютин глазок,

Душистую розу и нарядную жимолость,
Томные буквицы с поникшей головой,
Каждый цветик в своем пестром трауре.
Пусть померкнет амарант,
Пусть наполнится слезами нарцисс,
Устилая лавровое ложе Ликида,
Пока тщетная наша мысль
Меж неверных отдыхает догадок:
Где прах твой,
Дальними омываемый морями, гремящими в берега?
У бурных ли Гебрид
В обымающей волне
Нисшел ты к глубинным чудам,
Спишь ли, неподвластный слезным зовам,
Под древним сказочным Беллером,
Где мощный лик с хранимой им горы
Взирает туда, где Наманка и Байонна?
О архангел, оборотись и тронься!
О дельфины, вынесите злополучного на свет!

Не плачьте, скорбные пастыри, не плачьте!
Он не умер, Ликид, наша горесть,
Он скрылся под гладью вод,
Как солнце скрывается в океане,
Чтобы вскинуть вновь поникшую голову,
Просветлеть лучами и в новом золоте
Запылать на челе заревых небес, —
Так и Ликид
Доброй мощью Грядущего по волнам,
Опустясь на дно, вознесся в ту высь,
Где иные рощи, иные реки,
Где чистый нектар смоет ил с его кудрей,
И невыразимо зазвучит ему брачная песнь
Во блаженном царстве радости и любви.
Там приветил его чтимый строй угодников,
Там певучие сонмы движутся во славе своей,
И в очах навек высыхают слезы.
Не плачьте же, пастыри, о Ликиде:
Щедрая тебе мзда,
Дух твой отныне
Будет блюсти этот берег,
Осеняя странников опасных пучин.

Так пел неумелый пастух
Дубам и ручьям
В час, когда рассвет шел ввысь в седых сандалиях.

На тонких скважинах свирельных стволов
Страстной думой ладил он дорийский лад;
И вот солнце простерлось по холмам,
И вот кануло в западные моря,
И он встал, окинувшись в синий плащ:
С новым утром к новым рощам и новым пажитям.

Ф. Гёльдерлин

ПАТМОС

Ландграфу Гомбургскому

Близок
Бог, и неуловим.
Но где опасность,
Там и спасенье.
Во мраке
Гнездятся орлы, и без страха
Над бездною шагает альпиец
По легкозданным мосткам.
Дыбятся вкруг нас горы времени,
И возлюбленные нами вблизи
Томятся в разлучных высях.
Так излей же нам девственные воды,
Дай нам крылья,
Чтобы верным сердцем
Ниспуститься к ним и воротиться!

Так сказал я, и вот умчал меня
Нечаемо быстро и негаданно далеко
Гений
Из обители моей. На лету
Брезжились в рассветных сумерках
Темный лес и страждущие потоки
Родины моей, и потом неведомые
Земли, и наконец
В свежем блеске,
Полная тайны,
Расцвела в золотом дыму
Солнечных шагов
Распускающимися лепестками
С тысячи благоухающих гор

Азия, и мой ослепленный
Тщетно взор искал знакомого места,
Ибо новы были мне широкие русла,
По которым с Тмола
Златоубранный катится Пактол,
И стоят Мессогис и Тавр,
И цветистый пышет сад, как застывший огнь,
И в небесном свете серебряный
Расцветает снег,
И в знак жизни, не ведающей смерти,
По невступным скалам
Вековечный взвивается плющ,
И на кедрах зиждутся и на лаврах,
Как живых столпах,
Богозданные торжественные палаты.

От порога Азии
Разбегаются вдаль и вширь
По неверным морским равнинам
Распростертые солнечные пути,
Но знакомы пловцам их острова —
И когда уведал я,
Что единому из недальних
Имя — Патмос,
Обуяло меня желание
Обратиться туда и там
К темному приблизиться гроту,
Ибо не в блеске,
— Как влагообильный Кипр или как иные
Острова, —
Обитает гордый Патмос средину моря,

Но гостеприимствует под смиренными
Кровами, и когда
Изверженный ли судокрушением,
Томящийся ли по отечеству
Или по отъятому другу
Приближается к нему чужестранник, —
Остров преклоняет к нему слух,
И сыны его, голоса
Жаркой рощи и сыпучего песка
И взрезанных трещинами равнин,
Любовным откликаются отзвуком
На стенанья страждущего.
Так некогда

Остров оберег боговозлюбленного
Прозорливца, который в светлой юности

Неотлучен был
Сыну Господа Всевышнего, ибо
Возлюбил простодушного Громовержец,
И взирал он внемлющими очами
Изблизи в Божий лик,
Когда к таинству винной лозы
Восседали они в пору трапезы,
И в величии спокойной души
Возвещал им Господь Свою смерть и всевышнюю Любовь,
Ибо неустанны были добрые Его слова
Взвеселять души
Перед зримой яростью мира.
Все есть благо. И Он умер. Сколь многое
Можно вымолвить о том. И с победным
Взором, радостного, зрели Его в тот миг

Те друзья, но печалились и дивились,
Ибо вечер был, и скорбели души,
Величайшим обремененные свершением —
А мила им была жизнь под солнцем,
И сердца их не волили отрешиться
От Господнего лика
И родного края. Это в них вожглось,
Как огонь в железо:
Их Любимый истаивал с ними об руку.
И тогда ниспослал Он им
Духа, и воистину дрогнул
Дом, и Господня буря
Дальним громом грянула над зрячими
Лбами и тяжкими сердцами
Совокупных подвижников смерти,

И с прощальным словом
Он предстал им в последний раз,
И померк день солнца,
Царственный, богоскорбный,
Преломив
Светлый скиптр о прямых лучах,
Чтобы вновь восставиться ему
В должный срок. Недобрая настала пора
И неверная, преломилось человечье
Дело, и единая оттоле
Пребывала радость —

В чистом взоре сквозь ласковую ночь
Дозирать глубины
Мудрости, меж тем как живою
Зеленью зеленели горные впадины.

Но страшно, когда по всем путям
Расточает Господь живущих Господом,
Страшно отрешиться от лика
Дорогих друзей,
И уйти одинокому в загорные
Дали. Но где встретились двое,
Там единосердный
Их живил небесный Дух в непредреченной
Той внезапности, когда, удаляясь,
Оборотился Бог,
И схватил их за волосы, и они
Сплелись руками и поклялись,
Зло назвавши злом,
Словно золотыми канатами
Удержать Его во веки веков —

Но когда умирает Тот,
В Ком жила превысочайшая
Красота, Чье тело
Было чудом, начертанным небесными
Силами, и те, кто единой
Жили памятью, делаются друг другу
Непонятною навеки загадкою,
Когда время не только сметает прах,
И корчует дерево, и крушит
Капища, когда полубожеская
Слава и тех, кто с Ним,
Избывается, и Всевышний сам
Обращает лик,
Да не узрит
Ничего отныне несмертного
В небесах и на зеленой земле, — что это?

Это сеятель на току,
Взвеивая жито,
В ясный воздух мечет его лопатою,
И мякина шелушится у ног,
Но конец трудов вылегает зернами:
Если нечто сгинет и если
Отзвенит живой голос слова, —

Это не горе,
Ибо дело Божье подобно нашему,
Ибо воля Божья волит не все и не вдруг.
Как недра таят железо
И Этна — пылающие смолы,
Так мне затаить бы дар
Узреть очами моими
Образ, каким он был —
Христос.

Но когда кто себя взъярит
Злою речью, и на меня в расплохе
Грянет, на безоружного,
В Божьем образе скрытый раб, —
В гневе зрится мне небесная сила,
Чтобы я не взрос, но познал,
Что всего ненавистней добрым властная
Ложь,
В человеках истребящая человеческое,
Ибо правят не они, а бессмертный
Рок, и преображается сам собою
Труд их и спешит к своему концу.
Когда всходит к высям небесный
Триумфатор, и солнцеподобным славят сильные
Ликующего Сына Всевышнего —

Знак избранничества! — и жезл
Песнопенья клонится, указуя,
Что не все для всех. Он подъемлет
Мертвых, которых еще не тронул
Тлен. Но медлят
Робкие людские очи
Взвидеть свет, и медлят
Расцвести на острие луча,
Золотою взнузданные уздою.
Лишь когда из-под нависших бровей,
От Святого ниспав Писания,
Тихим светом вспыхнет
Сила позабыть мир, —
Радуясь благодати,
Прозревают их кроткие взоры.

И если небесные силы
Возлюбили меня в меру моего чаянья,

То сколь более возлюбили тебя!
Ибо знаю:
Воля Предвечного Отца
Для тебя превыше всего.
Тих его знак
На гремящем небе. И некто
Встал под ним на всю жизнь. Ибо жив Христос.
Пусть герои, Его сыны,
К нам пришли, и гласят о Нем Писания,
И земные деянья в неудержном
Беге суть лишь изъяснение молнии.
Но Он здесь. Ибо все, что сотворил Он,
Изначально Ему предведомо.

Долго, слишком долго
Нам не зрелись небесные силы:
Как на поводе, должны они
Нас вести по нашим путям и силою
Восхищать постыдное наше сердце.
Ибо каждый из небесных желает жертвы,
И забыть кого из них — не к добру.
Испокон мы служим матери земле
И невдавне — солнцеву свету,
Невегласные, но хочет Отец
Всемогущий, чтобы превыше чтилась
Твердая буква
И чтоб внятно означала бы сущее.
И немецкая песня Ему покорствует.

Фрэнсис Томпсон

НЕБЕСНЫЕ ГОНЧИЕ

Я бежал от Него
сквозь ночи и дни, под сводами лет,
в лабиринтах мозга, за мглою слез,
на раскатывающийся смех, —
и рушился
в зияющие мраки ужаса
от шагов Погони —
неторопких, спокойных, величавых,
и шаги били в слух, но сильней бил Глас:
«Кто предал Меня, того всё предаст».

Я оправдывался пред Ним,
прикрывал мой дух клочьями добрых дел,
но Страх меня гнал, а Любовь за мной гналась,
и я знал, она — Любовь, но было тяжко
обрести Его и лишиться всего.

Я скрывался — Он ввивался в щель,
и мой страх был быстр, но Любовь Его — быстрей;
я стучался, где кончается свет,
в золотые ворота звезд и в серебряные — лун,
и заре говорил: «спеши!», и вечеру: «скорей!»,
в синий луг небес я закутывался от грозной Любви,
я молил Его слуг,
но их верность была мне отказ.
Я хватался за гривы всех ветров,
но и в синих степях,
но и в черном плеске молний вкруг громовых осей
Страх меня гнал, а Любовь за мной гналась,
и все тот же шаг, и все тот же Глас:
«Кто в себе Меня не скрыл, тот не скроется никем».

Я не смел вскинуть взор во взор
мужей и жен, —
но в младенческих лучистых очах,
мне казалось, светится мне ответ.
Я вникал,
но их ангел, вцепясь в льняные кудри, взносил их прочь.

Я вскричал: Мать Природа,
дай мне долю меж твоих чад:
губы в губы, руки в руки, кудри в кудри,
в четырех ветрах твоих стен,
под лазорью прозрачного шатра —
причаститься чаше
светлых слез вселенской Весны!

И стало так:
сын Природы, я врос в ее таинства,
разумел, как морщится небо,
как над морем пенятся облака —
с ними я рождался и умирал,
и со мной они радовались и печалились.
Я смеялся утром, ликовал в полдень,
я был тяжек Истиною,
когда свечи звезд мерцали у гроба дня;

в сладких ливнях была соль моих слез;
я вжимался сердцем
в жар и трепет красных закатов, —
но не легче было тоске.
По седым щекам небес засыхали
мои слезы — мы не знали друг друга:
Мачеха Природа,
ее звук не шевелил мне ума,
я кричал, а она была нема.
В синей ткани стыли ее сосцы,
и ни капли иссыхавшему горлу.
А Погоня — тот же шаг, тот же Гром:
«Ничто — для тебя, если ты не для Меня!»

Голый,
брошенный на колени,
трепетал я бича Твоей любви.
В похоти силы моей
я сотряс столпы своих дней, —
и вся жизнь моя рухнула мне на темя:
годы — в груды, юность — прах меж развалин,
всходит дым из расселин дней,
больше нет
снов сновидцу, струн песнетворцу:
рвется цепь цветов,
безделушкой качавшая на запястье
земной шар, слишком тяжкий горем.

Ах, Твоя ли любовь — как стебель
красноцвета, где нет места иным цветам?
О, Чертежник Бескрайности,
Ты заране ль жжешь стволы на уголь черте?
Сердце мое — болото
слез, что каплют с плакучих ив ума.
Так — днесь; что — впредь?
Мякоть — горечь, какова ж скорлупа?
Дни мои — туман,
лишь гремит труба с оплотов Вечности,
и туман, колыхнув, мелькает башнею.

Но я внял трубе и познал Трубящего,
лишь узрев его, высящегося ввысь,
в темном пурпуре, в кипарисном венце.
Ах, наши ли жизни — Твоя Жатва?
Наша ль смерть — перегной Твоим полям?

И гнавшийся за мной
грянул Голос разом со всех сторон:
«Где твоя земля?
Эти ли она дребезги и черепья?
Вот: всё бежит тебя, как ты бежишь Меня!
Бренный, жалкий, всечуждый,
в ком ты ждешь, — он сказал, — любви?
Людская любовь — от людских заслуг:
в чем заслуга твоя,
меж глиняных комьев самый грязный ком?
Кто полюбит тебя, ничтожного,
кроме Меня?
Я брал у тебя —
чтобы взятое нашел ты в Моей руке;
ты ли нищ,
коль добро твое в Моих закромах?
Вот тебе Рука Моя: встань!»

Шаг смолк.
Этот мрак —
от ласкающе ль простертой Руки?
«Самый малый, самый темный, самый милый,
Это Я — кого ты искал!
Тот гонит Любовь, кто гонит Меня».

ПОЭМЫ

Перевод знаменитых поэм прозою — самая естественная дань скромного уважения к ним. В Европе это очень давняя традиция, у нас она не привилась, старые переводы И. Мартынова и А. Клеванова из классических авторов никем не читаются. Нам было интересно сделать такой опыт вот почему. Переводчики привыкли жаловаться, что переводимые стихи трудно втиснуть в стихотворный размер: будто бы в одном языке слова длиннее, а в другом короче. (На самом деле причина — не в лексике, а в синтаксисе: синтаксические средства уплотнения речи в каждом языке свои, и там, где одному языку удается быть лаконичным, другому приходится быть громоздким.) Но есть одно парадоксальное исключение — это перевод латинского гексаметра. В нем шесть стоп, но по-латыни в них обычно укладываются пять фонетических слов, а по-русски должны укладываться шесть, и переводчикам приходится пользоваться бессодержательными «затычками», chevilles. Мы попробовали: может быть, если переводить латинские гексаметры прозой, в них удастся достичь большей сжатости? Стиховедческий эксперимент не удался: из нумерации строк видно, что и в прозе, как в стихе, на одну строку оригинала приходится в среднем 17 слогов. Не знаю, удался ли эксперимент стилистический: звучат ли пышные поэтические украшения на фоне прозы эффектнее, чем на привычном фоне стиха? В качестве corpus vile, которого не жалко для вивисекции, была взята поэма Силия Италика «Пуника» (ок. 100 г.), образец барокко латинского серебряного века, история II Пунической войны в 17 книгах, расцвеченная всеми стилистическими узорами, а более всего — антономасией. Италия здесь — Энотрия, Гесперия, Авсония, Давния; римляне — тевкры, дарданы, пергамляне, идейцы, Энеады, лавинийцы, лаврентяне; скрещение римского рода с греческим — «рутулийская кровь с дулихийской»; карфагеняне-пунийцы — тирийцы, сидоняне, Агенориды, Кадмиды, Белиды и т. д. Здесь предлагается завязка войны; подзаголовки — конечно, от переводчика.

Перевод «Неистового Роланда» Ариосто (1532) был сделан с другим намерением. Всякий читавший оригинал знает, как убаюкивающе действует плавное течение эпического стиха огромной поэмы, в котором узловые моменты повествования ничем не выделяются из попутных описаний и отступлений. Для перечитывающего в этом есть особая прелесть, но для читающего впервые это немало мешает восприятию. А русский читатель (и я в том числе) читал Ариосто подряд впервые. Поэтому я нарочно старался помогать ему, движением стиха подчеркивая движение событий. Членение на строфы, даже без ритма и рифмы, позволяло сохранять воспоминание об октавах оригинала. В «Неистовом Роланде» октава пассивна, повествование катится по строфам ровным потоком, тогда как, например, в «Дон Жуане» или в «Домике в Коломне» октава активна, то и дело выделяя и подчеркивая острую сентенцию или иронический поворот интонации. Я не решился бы перевести верлибром «Дон Жуана», но перевести «Неистового Роланда» решился. Укладывая слова в строчки, поначалу я стремился лишь к точности и краткости, потом почувствовал, что невольно соблюдаю какой-то ритм. Оказалось, я избегаю в начале строк ямбических зачинов (с ударением на 2 слоге: «Так бьющий сокол...») и предпочитаю остальные (с ударением на 1 и/или 3 слоге: «С пешими моими и конными», «В императорский стан...», «Карл Великий...»). То есть возможен стих, организованный ограничениями не только на окончания строк (только женские или только не-женские), а и на зачины строк. Для стиховеда это интересно.

«Три тайные поэмы» Сефериса (1966) — это не эксперимент, это добросовестный перевод, верлибр здесь в подлиннике. Я включил его в эту книгу, чтобы дать читателю отчет в собственном вкусе: мне нравятся именно такие стихи, сухие, пунктирные, в которых больше нечего сокращать. Вероятно, под этот образец я подгонял и те сокращенные переводы, которые будут в этой книге дальше. Первая поэма — о луче прозрения в сущее и вечное, путь сквозь тщетный разум, муть, застылость и окаменелость. Вторая — оглядка на классический миф: убийство Агамемнона в кровавой бане, Клитемнестра с Эринниями на сцене, но она сильнее их, потому что нашла в себе силы взглянуть в ту вечную пустоту, бесформенную, как море, которую нельзя передать. Третья — искажение и угасание: огонь становится сушью, прозренье — мороком, а в словах поэта «твой голос, твой, а не тот, который ты

любишь», не голос пустоты; постижение и свершение можно оставить людям, оно им не поможет, а для себя остается только всесожжение в пустоту: она обозначена, за неимением лучшего, вечным символом розы. Перевод был сделан совместно с Е. И. Светличной; подлинник написан правильными фразами, но без знаков препинания, — кому это дорого, пусть мысленно отбросит их из перевода. Подзаголовки отрывков я делал для себя, чтобы не потеряться в трудном тексте.

Силий Италик

ПУНИКА: I

[*Вступление.*] Я приступаю к войне, вскинувшей до небес славу Энеадов и под энотрийские уставы повергшей дерзостный Карфаген. (3) Даруй мне, Муза, напоминание о блеске подвигов древней Гесперии и о том, сколько и каких мужей воздвиг Рим для той войны, когда Кадмов род преступил святой договор, поднял битву за власть и долго колебалась Фортуна: которую из твердынь возвысить над миром. (8) Трижды Сидонские вожди рушили недобрым своим Марсом освященный Юпитером союз и договор с сенатом; трижды нечестивый меч побуждал их безумно рвать ими же одобренный мир. (12) Во второй же из этих войн, когда два народа попеременно грозились конечной бедою, грядущие победители ближе всего были к погибели: да, отверзлись Дарданскому вождю Агеноровы твердыни, но и Палатину довелось быть в пунийской осаде, и Риму спасаться лишь своими стенами.

(17) Эти завязи столь грозной ярости, эту веками хранимую ненависть, эти брани, завещанные правнукам, — ныне дано мне открыть, обнажая всевышние умыслы; и вот я подступаю к первоначалам великих смут.

[*Юнона избирает Ганнибала для погибели Рима.*] (21) Некогда, бежав сквозь волны из Пигмалионовых стран, опороченных братогубительным злодейством, пристает к роковому ливийскому берегу Дидона. (24) В купленном месте возводит она новые стены — там, где позволено ей опоясать берег воловьим ремнем. (26) Здесь-то (гласит старина) пожелала Юнона утвердить на веки веков то изгнанничье племя, которое ей милее и Аргоса, и Атридовых Микен. (29) Но когда увидела она Рим, вскинувший чело над воинственными градами, и суда его на морях, и победные знамена по всему свету, то пред близящейся этой угрозой взмущает она сердца пунийцев битвенным безумием. (33) Отражен первый бранный натиск, канули обломки ливийской затеи в сицилийскую пучину, но вновь вздымает Юнона войну. (36) Ей, всколыхнувшей землю и готовой возмутить море, надобно теперь лишь одно: вождь.

(38) И вот всем гневом богини облекается воинственный Ганнибал: его единого дерзает она выставить против судьбы. (40) Ликуя о кровавом этом муже, о скором вихре напастей на Латиново царство, в предвиденьи грядущих побоищ гласит она так: (42) «Наперекор моей воле привел когда-то троянский изгнанник Дарданию и дважды плененные пенаты свои — в Лаций, победой вручив тевкрам Лавинийские скиптры; (45) но это лишь до поры, когда Тицин не вместит в берегах своих римские трупы, когда покорная мне Требия, преградясь оружием и мертвыми телами, хлынет вспять Пергамскою кровью по кельтским полям, когда Тразименская зыбь ужаснется помутненным гнилью собственным затонам, (50) и когда увижу я с небес могилу Италии — Канны, Япигийскую равнину в Авсонской

крови, и Авфид, с трудом рвущийся к Адриатике из берегов, тесных от шлемов, щитов и отрубленных рук и ног». (55) Так воспламеняет она юного к Марсовым подвигам.

[*Ганнибал и его клятва.*] (56) Был Ганнибал жаден до дела, неверен слову, несравним в хитростях, неохоч до справедливости, в оружии не знал страха божия, на худое доблестен, к миру презрителен, и кровожаждущ до мозга костей. (60) В цвете сил своих хочет он загладить отчий позор при Эгатах, затопить договор Сицилийским морем, и Юнона томит ему сердце вдохновенной надеждой на славу. (64) В ночных виденьях он уже врывается в Капитолий или проносится по вершинам Альп. (66) И не раз его слуги, встревоженные во сне у порога диким его криком в пустой тиши, находили его в поту мнимых войн и грядущих битв.

(70) Эту ярость против Сатурновой Италии еще в детстве в нем воспалила отчая неистовость. (72) Был он из Тирийского рода Барка, древних предков своих отсчитывал от Бела. (73) Когда Дидона, лишась супруга, покидала порабощенный Тир, то спутником в счастье и горе пристал к ней Барка, юный отпрыск Бела, избегший Пигмалионова нечестивого меча. (77) Этим-то знатным родом не менее, чем ратной десницей, славился Гамилькар, знатный пестун вражды, с первого внятного Ганнибалова лепета сеявший в детском сердце севы войны против Рима.

(81) Был среди Карфагена храм праматери Элиссы, чтимый тирийцами с наследственным страхом; сосны и тисы черною тенью скрывали его от света. (85) Здесь, говорят, отошла царица от смертных мук. (86) В скорбном мраморе высятся здесь образы — праотец Бел и все его правнуки: и славный Агенор, и давший долгое имя народу Финикс, и сама царица с троянским клинком у ног, навеки снова с Сихеем; а вкруг — сто алтарей вышним богам и мощному Эребу. (93) В стигийской одежде, разбросив кудри, здесь взывает жрица к Ахеронту и подземной богине: стонет во тьме земля, страшен в расселинах свист, без огня пылают алтарные огни; на заклятный запев вылетают души из пустот, проступает пот на мраморном лбу Элиссы. (99) Гамилькаровой волею входит в святилище Ганнибал; лик и облик его — под отчим взглядом. (101) Не страшна ему ни массильская менада, ни жестокий обряд, ни порог в крови, ни огни, взвиваемые заклятьями. (104) А отец его ласкает, целует и такими ободряет словами:

(106) «Новой Трои Кадмову роду неправеден гнет. Если откажет судьба моей деснице отвести этот позор от отечества — избери, сын мой, эту славу для себя, зачни войну на погибель лаврентянам, пусть восход твой ужаснет заморскую юность, пусть зарекутся рожать латинские жены».

(113) Так ужалив, внушает он нелегкую клятву: «Огнь и меч на суше и море обрушу я на Рим, как обрушились они на Трою. (116) Не преграда мне ни боги, ни сковавшие Марса договоры, ни альпийская высь, ни Тарпейская скала. В том клянусь нашим богом брани и твоею, царица, тенью».

(119) Черная жертва падает трехликой богине. Жрица, божьего взыскуя ответа, хищно вскрывает дышащую утробу и над вскрытою вопрошает отлетающую душу. (123) И проникши древним пытаньем в божьи помыслы, гласит она так: (125) «Вижу Апулийские нивы, устланные войском, вижу озера, горящие Идейской кровью! (127) Какие скалы взметнулись к небу, на воздушном темени неся твои станы! (129) Ринулось войско с гор; города — в трепете и в дыму; подзакатные земли пышут тирийским пламенем; кровью струится Эридан. (132) Рухнул ярым ликом на мечи и трупы тот, кто громовержцу жертвовал единоборные доспехи. (134) О, какая буря ужасает внезапным ливнем, и в разрывы неба огненный сверкает эфир! (136) Готовится великое; гремит небесный чертог; Юпитер во всеоружии. (137) Но что дальше, на то от Юноны запрет: онемели утробы жертв, скрыты тайною долгие труды и беды».

[*Гасдрубал в Испании.*] (140) Так замкнул в сыновнем сердце сидонский вождь отсроченную войну, а сам двинул ливийские знамена к Геркулесовым предельным столпам, но в лютой сече пал мертв.

(144) Гасдрубал приемлет бразды. Он бушует над иберскими насельниками Бетиса в том краю закатного обилия. (147) Темен его дух, неисцелим его гнев, урожай его царства всходит злобою. Закален кровожадностью, вменял он страх себе в честь. (150) Ярости его не довольно привычных казней: глух к богам и людям, он распял на воздвигнутом столпе древнего родом, дивного видом, славного подвигами государя-Тага и, ликуя, непогребенным бросил его народу. (155) Несший имя золотой реки, оплаканный нимфами берегов и гротов, не отдавший бы свой удел ни за меонийский поток, ни за лидийский затон, ни за Герм, заливающий поля текучим золотом, первым шел он в бой, последним слагал он меч. (161) В седле на скаку, отпустив повода, несдержим ни клинком, ни дальним дротом, мчался Таг, торжествуя, и в обоих войсках узнавали золотой его доспех. (165) И его-то увидев обезображенного смертью на злом кресте, верный его раб похищает любимый его меч, вихрем врывается во дворец и взмахом дважды разит бессердечную Гасдрубалову грудь.

(169) В лютой радости, в жарком гневе и мутной скорби набегают пунийцы, настают пытки. (171) Жгучий огнь, сталь добела, рвущие плоть несчисленные бичи, длани палача, пламя в разрубах ран. (175) Жестоко молвить, жестоко взглянуть: простирается торс по законам мук, иссякает кровь, но долго еще дымятся кости в крошеве мяса. (179) Тверд лишь дух: боль для него смешна. Глядя, как свысока, казнимый бранит усталых палачей и кричит, чтобы за хозяином вскинули и его на крест.

[*Ганнибал принимает власть.*] (182) Пока вершится презираемая казнь, смятенное воинство, лишась вождя, единогласно и вперебой требует себе Ганнибала. (185) В нем влечет и образ отцовской доблести, и летящая слава обетной войны, свежий для дерзаний возраст, яркий пыл, хит-

рый ум и красная речь. (189) Первыми кричат привет ему ливийцы, а потом пиренейские бойцы и иберы, — и злая в нем восстает гордыня, что столько теперь под ним земель и морей.

(193) То ли она третья часть света, то ли исполинский она отрог Азии, опаляется Ливия небесным Раком под южными Эолами и знойным Фебом. (196) На розовом востоке грань ей — Лагийский поток, семью устами вздувающий хлябь. (198) А там, где ласковей глядит двумя Медведицами Север, там, отторгнутые Геркулесовым проливом, видятся с гор поля Европы. А дальше — море, в котором молкнет имя Атланта. (203) Отстранись, Атлант — и пало бы небо: звезды на подоблачном его лбу, ярмо эфира на круче выи, (205) стужею бела борода, сосновая чаща мощно осеняет надбровье, над полыми висками бушуют ветры, пенные реки ливнями рвутся из пасти. (208) Бьются моря о скалы двух его боков, и когда усталый Титан погружает в них задыхающихся коней, паром пышет пучина навстречу огненосной колеснице. (210) Где непаханые заскорузли степи, там богата Африка лишь змеиным кипящим ядом; а где мягок над полями воздух, там ни Энна, ни Фарос не сравнятся с ней Церериным приплодом. (215) Здесь скачут нумиды, не знающие узд, и гибкая лоза меж конских ушей лучше удил поворачивает их бег. (218) Питательница воинов и войн, не верит земля эта нелицемерному мечу.

(220) А во втором стане — испанские полки, помощь Европы от Гамилькаровых побед. (222) Здесь по лугам — ржание Марсовых коней, здесь взвиваются жеребцы в ратной упряжи колесниц, и сама Элида не ведала осей раскаленнее. (225) Здесь не щадят душ и торопят смерть: кто перерос свой расцвет, тому постыла старость, и судьба его в его деснице. (228) Здесь сошлись все металлы: белым златом от двух отцов сияют жилы, черная жатва халибов израстает из жестокой земли. (231) Вглубь прячет бог истоки всех злодейств: в щели искалеченной земли внедряется алчный астур и выходит сам желт, как золото в его руках. (234) Здесь с Пактолом спорят Дурий и Таг, а с ними река Забвения катит яркий песок по землям гравиев и поит племена загробной Летою. (237) И Церере эта земля послушна, и к Вакху гостеприимна, и Палладино древо нигде не выше.

[*Нрав Ганнибала.*] (239) Эти-то два народа приняв под власть, с браздами в руках пускается тирский тиран обольщать племена, то мечами, то дарами руша в прах сенатские договоры. (242) Первый нести труды, первый пролагать путь, первый насыпать вал, он ни на каком не ленив пути к славе. (245) Пренебрегая сном, ночи напролет на голой земле он бодрствовал при оружье, в полководческом он плаще был неприхотливей грубых ливийцев, верхом на коне взносил свою власть перед длинным войском, с непокрытым теменем шел в грозы и бури рушащегося неба. (252) Не сводили глаз пунийцы, трепетали астуры, когда он гнал устрашенного коня своего сквозь перуны Юпитера в грозных тучах и вспышки молний от

стычек ветров; и под знойным Псом не слабел он в запыленном строю. (257) Когда трескалась земля под огненными лучами и кипел эфир под каленым кругом, он вменял в позор лечь под влажную тень и шел вдоль ручьев, упражняясь в жажде. (261) Скрутив поводья, переламывал он к бою усталого скакуна, и гордился славою смертоносного удара, и бросался в катящую камни неведомую реку, чтобы с дальнего берега кликать за собою друзей. (265) Первый в приступе на валу, он и в поле, куда ни метнет копье в жаркой сече, то и выстелит кровавую межу. (268) Наступая на судьбу, решившись рвать договоры, рад он случаю захлестнуть Рим войной и с края земли стучится в ворота Капитолия.

[*Город Сагунт.*] (271) Первые его трубы грянули пред Сагунтом: ради большой войны ринулся он в меньшую войну.

(273) При широком море на ласковом вскате высятся Геркулесовы стены; освятил их своим именем Закинф, чья могила на вершине холма. (276) Шел Закинф за Геркулесом, спеша в Кадмею, и славил убиение Гериона. (278) Был Герион о трех жизнях, трех телах, трех главах на шее, трех руках в оружии; не видала земля другого такого чудища, чтобы мало было ему одной смерти, чтобы строгие Сестры в третий пряли ему дважды оборванную нить. (283) Этот подвиг и славил Закинф, в полуденный зной гоня к водопою пленное стадо, когда вдруг попранная им змея, вскинув к смертной ране свою пасть, вздутую отогретым ядом, распростерла аргосского мужа на иберской земле. (288) А вскоре приплыли сюда с южным ветром беглые поселенцы родом с острова, что лежит в ахейском море и что слыл когда-то в Лаэртовом царстве Закинфом. (291) Скромное это начало окрепло потом италийскими юнцами, которых выслала когда-то в поисках жилья славная Ардея, обильный сынами город благородных царей. (294) Вольность народа и честь предков закрепилась тогда договором, а пунийской власти над городом положен запрет.

[*Осада Сагунта.*] (296) Сломлен договор! придвигает пунийский вождь лагерные огни, сотрясает полками просторные поля, (298) на взмыленном коне объезжает стены, свирепым взором исчисляет трепещущие домы, велит отворить врата и очистить вал. (301) Нет для осажденных ни договоров, ни Италии! нет для побежденных упования на спасение! сенатские решенья, законы, присяги и сами боги — вот в этой его деснице! (304) Пущенный дрот подкрепляет слова — вот Каик, стоявший с тщетными угрозами на стене, пронзен сквозь броню, тело его падает с крутого вала, а неостывшее копье он, умирая, возвращает победителю. (310) Многие с криками следуют вождю, черная туча дротов окутывает стены. (312) Численность не умаляет доблести: вождь пред очами, и каждый бьется, словно на нем — вся война. (314) Тот вновь и вновь сеет камни балеарской пращой, трижды раскружив над теменем легкую узду, а потом доверив их скрытному ветру; (317) тот могучей мышцей колеблет разящую глыбу;

третий мечет копье с ремнем; (319) а вождь впереди, в отцовском доспехе, и то метнет смольным пламенем дымящийся факел, то грудью стоит против града каменьев, и кольев, и дротов, то стремит с тетивы напоенные ядом и дважды смертельные стрелы, радуясь коварству своего колчана. (324) Так дакиец в воинственной гетской земле заостренные отчей отравою стрелы рассевает по брегам двуименного Истра.

(327) Новая забота: обнять холм, опоясать город стеною с частыми башнями. (329) Где ты, Верность, святыня древних, а нынче — одно лишь имя! (330) Смотрит стойкое юношество: нет путей к бегству, вал запирает город, но для Сагунта пасть, сохраняя верность — это гибель, достойная Италии. (333) Все туже напрягаются силы: вот фокейская баллиста, оттянув тетиву, устремляет громадные глыбы, а переменив тяжкий свой заряд, посылает в гущу битвы окованные железом стволы. (338) Гром с двух сторон — так схватились два строя, как будто сам Рим у них за стеной.

(340) Вождь кричит: «Нас столько тысяч, сеяны мы в битвах, цепенеть ли нам пред пленяемыми врагами? (342) Замысел нам не в стыд, начало не в стыд: таково ли первое дело и первая гордость вашего полководца? таковую ли славу наших побед предсылаем мы себе на Италию?»

(345) Вспыхивают сердца, проникает Ганнибал до мозга костей, зовут грядущие брани. (347) С голыми руками устремляются они на вал, но отбиты — лишь отрубленные руки вокруг. (348)

Насыпают насыпь, нависают бойцы над городом. (350) Но было у осажденных оружие отбить врага от ворот: фаларика, труд многих рук, страшная сила на взгляд. (352) Древесный ствол с Пиренейских облачных круч, со множеством клювов на погибель стен, дымится, весь в смоле и черной сере: (356) пущенный, как молния, с крепостных твердынь, режет он воздух языками огня, — так пламенный мчится с небес болид, слепя глаза кровавою гривою. (360) Часто, к смятенью вождя, этот разящий удар с воздуха разметывал дымящиеся тела бойцов; часто, с лету впившись в огромный бок осадной башни, зароняется в ее недра огонь, и пылающий обвал погребает мужей и оружье.

(365) Но вот, стеснясь черепахой, отступают пунийцы от ворот — теперь исхитряются они темным подкопом взять город, обрушив стену. (368) И вал побежден! в страшный шум канул Геркулесов труд, осыпая огромные глыбы, и неслыханный рев взметнулся до небес. (370) Так в подоблачных Альпах обвалом скал расседаются горы, окликаясь гулом. (373) Сгрудившись, возводят защитники новый вал, а развалины подрытого не дают наступать ни тем, ни другим, сражаясь между обломками.

[*Битва у вала.*] (376) Первым Мурр цветущею блещет юностью: в нем италийская кровь, но по сагунтинской матери он и грек — дулихийское с рутулийским смешалось наследство в потомке...

Л. Ариосто

«НЕИСТОВЫЙ РОЛАНД», II, 37–59

Рассказ Пинабеля о волшебнике Атланте

37 «Сударь (так он начал), я держал мой путь
С пешими моими и конными
В императорский стан, где на выходе из гор
Карл Великий ждал напасть на Марсилия;
И со мною была юная красавица,
О которой пылало мое сердце,
Но у города Родонны нам предстал
Латный воин на крылатом коне;

38 Смертный ли, адское ли исчадье,
Но, завидев прекрасную мою милую,
Он, как хищник,
Соколом на дичь,
Пал, взлетел, и в единое мгновенье
Трепетная была в его руках.
Не успел я вспомниться,
Как лишь крик моей дамы слышался с высоты.

39 Так разбойный коршун
У курицы умыкает цыпленочка,
А она вне себя, недоглядевши,
Тщетным криком кудахчет ему вслед.
Как мне было догонять похитителя?
Я в горах, везде отвесные кручи,
Конь устал и еле двигает ноги
По мучительным каменьям трудных троп.

40 Мне казалось, было бы легче,
Чтобы сердце мне вырвали из-под ребер!
Я оставил моих бойцов
Без вождя продолжать свой путь,
А сам, путеводимый Любовью,
По откосам; где было способнее,
Стал держать туда, куда хищник унес
Мой покой и мою утеху.

41 Шесть дней я шел от зари до зари
По кручам и склонам, чуждым и грозным,
Без дорог, без троп,
Без следа ноги человечьей, —

И пришел в заброшенный, дикий дол
Меж каменных гор и черных берлог,
И там был утес, а на утесе замок,
Неприступный, крепкий и дивно прекрасный.

42 Издали сиял он, как пламя,
Не кирпичным был он и не мраморным;
А как ближе подошел я к его сиянью,
Он предстал еще чудесней и прекрасней.
После я узнал: это работные демоны,
Повинуясь заклятьям и куреньям,
Возвели эти стены из булатной стали,
Кованой в аду и каленой в Стиксе.

43 Такой гладью блистала сталь,
Что не брала ее пятнистая ржавчина.
Здесь-то и укрывался злой хищник,
И отсюда он рыскал днем и ночью,
Без помехи в своих разбоях —
Тщетны крик и проклятья ему вслед.
Здесь замкнул он мою даму, мое сердце, —
Больше нет мне надежды ее вернуть.

44 Бедный, лишь издали смотрел я
На утес, затаивший мое счастье —
Как лиса, которая слышит
Писк лисенка в орлем гнезде,
А без крыльев достать его не может,
И теряется, и мечется вокруг.
Крут утес, еще круче — стены;
Только птице взлететь в такую высь.

45 Так я медлил, и вдруг я вижу:
Двое витязей, а ведет их карлик,
Вмиг желанье мое вспыхнуло надеждой,
Но и та и другое были тщетны.
Это были два отважных героя —
Градасс, сериканский царь,
И Руджьер, юный удалец,
Что в чести при африканском владыке.

46 "Эти двое, — сказал мне карлик, —
Собрались померяться силой
С владетелем этого замка,
Небывалым всадником четвероногой птицы".

Я воскликнул: "О, господа,
Сжальтесь над горькой моей бедою,
В час победы (на нее моя надежда!),
Умоляю, воротите мне мою даму!"

47 Я поведываю о своей утрате,
Слезы подтверждают мою боль;
Они многие сулят мне посулы
И спускаются к замку с крутизны, —
А я остаюсь видеть бой вдалеке
И молить небеса об их победе.
Перед замком было ровное место
Шириной в два переброса камнем;

48 Там, у подножия утеса,
Двое спорили, кому биться первым.
То ли жребий помог Градассу,
То ли меньше это было дорого Руджьеру,
Но вот сериканский царь
Трубит в рог, отгрянули скалы и стены,
И является из ворот
Латный рыцарь на крылатом коне.

49 Взлетал он понемногу, —
Как перелетный журавль,
Разбежавшись, вздымается над землей
На локоть, на два,
А потом распахнет свои крылья,
И уже за ними не уследить.
Так колдун плещет взмахами в такую высь,
Где не реют и орлы.

50 А в урочный миг поворотил он коня;
Сложа крылья, тот прянул вниз —
Так бьющий сокол
Рушится взять горлинку или утку;
Всадник, взяв копье вперевес,
Грозным шумом рассекает воздух —
И еще не взвидел его Градасс,
Как сотрясся от удара и раны.

51 Бьет в Градасса волшебниково копье —
А Градасс разит лишь праздный воздух,
Потому что бивший уже
Отлетел поодаль;

Но удар его бросил на траву
Славную альфанскую кобылицу —
Была у Градасса альфанская кобылица,
И лучше ее не хаживало под седлом.

52 До звезд взвился колдун,
И кружит, и низлетает вновь,
И разит не чающего Руджьера,
Руджьера, что весь в тревоге о Градассе.
Руджьер покачнулся от удара,
На шаг отшатнул коня,
А когда размахнулся для ответа,
Тот уже маячил в вышине.

53 То он на Градасса, то он на Руджьера,
То в лоб, то в грудь, то в хребет,
А они к нему тянутся впустую —
За летучим не уследить.
Он витает широкими кругами,
Одному грозит, а другого разит,
И обоим так мелькает в очи,
Что они не знают, откуда ждать.

54 Двое на земле, один в небе —
Так они сражались до поры,
Когда темная пелена
Обесцветила всю земную красу.
А потом было вот что — расскажу без примолвки,
Что видел, что знаю, а убеждать не стану:
Такое чудо
Больше похоже на ложь, а не на быль.

55 Щит в руке подоблачного всадника
Весь был скрыт дивным шелковым платом,
Я не знаю, зачем так долго
Он держал его под таким покровом,
Ибо кто его увидит открытым —
Тот вмиг ослеплен,
И падает, как падает мертвец,
В добычу волшебнику.

56 Щит горел, как камень-огнеок —
Нет на свете светлее света!
Блеск вмиг сбил с ног
Всех не видящих и не помнящих.

Я был вдали, но и я лишился чувств
И очнулся лишь по долгом времени:
Ни рыцарей не было, ни карлика,
Пусто поле, во мраке холм и дол.

57 И я понял, что чародей
Одним махом прибрал к рукам обоих,
Огнеоким лишив сияньем
Их — свободы, а меня — надежды.
И сказал я “прости” темнице,
Где томится моя душа.
Рассудите же, какая невзгода
На путях Любви сравнится с моей?»

58 Молвив, рыцарь вновь затих в тоске,
О причине которой он поведал.
А был это граф Пинабель,
Сын Ансельма с Высокого Берега.
В своем Майнцском вероломном роде
Не хотел он знать ни верности, ни чести;

59 Всеми черными, всеми гнусными пороками
Был он равен другим и больше других...

Й. Сеферис

ТРИ ТАЙНЫЕ ПОЭМЫ

В зимнем луче

1 <*Зима*>

Листьями ржавых жестянок
в нищем мозге, взвидевшем конец, —
редкие взблески:
листьями в вихре,
вместе с чайками, обозленными зимой.

Как высвобожденный вздох,
танцовщики застыли деревьями —
большой лес обнаженных деревьев.

2 *<Снег>*

Белые водоросли в огне —
Грайи, всплывшие без век,
облики былых плясок,
окаменелые пламена.
Снег скрыл мир.

3 *<Разум>*

Спутники свели меня с ума
теодолитами, секстантами, отвесами
и телескопами, увеличивающими предметы,
которые лучше издали.

Куда ведут нас эти дороги?

Но вставший день,
может быть, еще не угас
с огоньком в ущелье, как роза,
с невесомым морем под шагом Бога.

4 *<Свет>*

Ты сказал здесь годы назад:
«Суть моя — свет».
И теперь еще, когда ты склоняешься
на широкие плечи сна,
или даже когда твой путь — на дно
в онемелое лоно моря, —

ты обшариваешь углы, где тьма
стирается и бессилеет,
наощупь ищешь копье,
предназначенное пронзить твое сердце,
чтоб открыть его свету.

5 *<Река>*

Что за мутная река нас умчала?
Мы на дне.
Поток льется над нашей головой,
гнет бессвязный тростник.

Голоса
превратились под каштанами в камешки,
ими бросаются дети.

6 *<Ветер>*

Дуновенье, и еще, и порыв —
в миг, когда ты бросаешь книгу,
рвешь ненужные листки прошлого
или тянешься увидеть на лугу
горделивых кентавров в скачке
или юных амазонок, в поту
каждого изгиба тела
соревнующихся в прыжках и борьбе.

Ветер воскресения на рассвете,
когда думаешь, что солнце взошло.

7 *<Огонь>*

Огонь исцеляется огнем:
не каплями секунд,
а мгновенной вспышкой, —
будто страсть слилась с другой страстью
и они, пронзенные, замерли,
или будто
музыкальный лад, который застыл
там, в средине, как изваяние,
неподвижный.

Этот вздох — не свершенье,
а кормчий гром.

На подмостках

1 *<Солнце>*

Солнце, ты играешь вместе со мной,
и все же это не танец:
такая нагота,
почти кровь
для какого-то злого леса;
и вот —

2 *<Сцена>*

Грянули гонги,
пришли гонцы.
Я их не ждал,
я забыл даже их голоса.

Отдохнувшие, свежеодетые,
в руках корзины, в корзинах плоды.
Я дивился шепотом:
люблю амфитеатры!
Раковина переполнилась по край,
и на сцене померкли огни,
как для славного какого-нибудь убийства.

3 <*Действие*>

Чего ты ищешь? Лицо твое исковеркано.
Вот ты встала
из постели, где стынут простыни,
и из бани, в которой месть.
Капли скатывались
по плечам и по животу,
под босыми ногами была земля,
срезанная зелень.
Те —
три лица неистовой Гекаты —
увлекали тебя с собой.
Твои очи — две трагических раковины,
на сосцах твоих два вишневых камешка —
театральный, наверное, реквизит.
Те улюлюкали,
ты стояла, вросшая в землю,
жесты их резали воздух.
Рабы вынесли им ножи —
ты стояла, вросшая в землю:
кипарис.
Они вырвали ножи из ножон,
примеряясь, как тебя ударить.
Лишь тогда ты вскрикнула:
«Пусть, кто хочет, придет меня свалить:
разве я не море?»

4 <*Море*>

Море: как оно стало таким, море?
Я годами медлил в горах,
слеп от светляков,
а теперь жду на этом берегу
человека, плота, обломка.

Море, как оно осквернилось?
Раз! взрезал его дельфин,
а потом
острые крылья чаек.

Но пресной была волна,
где я плавал и нырял ребенком,
и где юношей
я высматривал в камешках узор,
искал ритм,
и Морской Старик мне промолвил:
«Я — твое место:
может быть, я — никто,
но могу я стать, кем ты хочешь».

5 *<Событие>*

Кто слышал в полдень
свист ножа по точильному камню?
Кто примчал верхом
с факелом в руке и хворостом?
Каждый умывает руки,
чтоб они остыли.
Кто вспорол
женщину, младенца и дом?
Нет виновного: только дым.
Кто бежал,
и подковы звенели о каменья?
Вырваны глаза: слепота.
Больше нет свидетелей.

6 *<Слово>*

Когда вновь ты заговоришь?
Наши речи — дети многих отцов.
Они сеются, и укореняются,
и растут, и вскармливаются кровью.
Как сосны
хранят образ ветра,
когда он промчался, и нет его, —
так слова
сохраняют образ человека,
когда он миновал, и нет его.
Может быть, это звезды ищут слов,

когда топчут наготу твою ночью:
Лебедь, Стрелец, Скорпион, —
может быть, они.
Но где будешь ты в тот миг,
когда здесь, в театре, настанет свет?

7 <*Вечность*>

И однако там, на том берегу
под черным взором пещеры —
солнце в очах, птицы на плечах —
ты была, ты выстрадала
иную муку — любовь,
иную зарю — предстание,
иное рождение — воскресение;
и однако там ты возникла вновь
в неоглядном растяжении времени —
капля за каплею, как смола.
Сталактит. Сталагмит.

Летнее солнцестояние

1 <*Жернова*>

Огромное солнце с одной стороны,
юная луна с другой —
как те груди, далеки в памяти,
а меж них провалом — звездная ночь,
половодье жизни.

Лошади на току
мчатся, распластавшись в поту.
Здесь все проходит:
и эта женщина,
на миг прекрасная в твоих глазах,
гнется, ломится, падает на колени.
Жернова перемалывают все:
в звезды.

Канун самого длинного дня.

2 *<Роза>*

Каждому видятся виденья,
но никто не хочет признаться
и живет, словно он один.
Большая роза
всегда была здесь рядом
с тобой во сне,
твоя, но неведомая, —
но только теперь, пригубив
крайние ее лепестки,
ты почувствовал плотный вес танцовщика,
падающего в реку времени —
в страшную зыбь.

Не трать дыханья, которым
одарил тебя этот вдох.

3 *<Морок>*

Но и в этом сне
так легко виденье становится
страшным мороком.
Так рыба, блеснув в волне,
уходит в глубинный ил,
так меняют цвет хамелеоны.
Город стал блудилищем,
сводники и шлюхи
закликают затхлыми прелестями;
девушка, вышедшая из волн,
надевает коровью шкуру,
чтобы даться быку;
поэт
смотрит на кровоточащие статуи,
а толпа швыряет в него дерьмом.
Уходи из этого сна,
как из кожи, иссеченной бичами.

4 *<Вихрь>*

В диком мотовстве ветра
вправо, влево, вверх, вниз
кружится мусор.

Смертный пар
цепенит людские тела.
Души
рвутся покинуть плоть,
они жаждут, но нет воды,
они тычутся, как в птичьем клею,
взад, вперед, наугад,
бьются тщетно,
и уже им не поднять крыльев.

Край иссох —
глиняный кувшин.

5 *<Ворожба>*

Мир укутан в снотворные простыни.
Ему нечего предложить,
кроме этого конца.
Жаркой ночью
высохшая жрица Гекаты,
груди настежь, на крыше дома
исторгает рукодельное полнолуние,
а две маленьких рабыни, зевая,
в медном размешивают котле
душные зелья:
завтра вволю насытятся любители.

Страсть ее и белила —
как у трагической актрисы,
и уже осыпается гипс.

6 *<Нагота>*

Под лаврами,
под белыми олеандрами,
под колючей скалой,
и стеклянное море у ног, —
вспомни, как хитон на глазах твоих
раскрывался, соскальзывая с наготы,
и ложился вокруг лодыжек,
мертвый, —
не так ли упал этот сон
между лаврами мертвых?

7 *<Сад>*

Серебристый тополь в ограде —
его дыхание отмеряет часы твои
днем и ночью —
водяные часы, полные небом.
Его часы в свете луны
тянут черный след по белой стене.
За оградой несколько сосен,
потом мраморы и огни
и люди, изваянные, как люди.
Только черный дрозд
щебечет, прилетая пить,
и порою ты слышишь голос горлицы.

Вся ограда — десять шагов;
можно видеть, как падают лучи
на две красные гвоздики,
на оливу и на малую жимолость.

Будь таким, как есть.
А стихи
не отдай утонуть в густом платане:
вскорми их твоей скалой и почвой.
А лучшие
закопай в нужном месте, чтоб найти.

8 *<Стихи>*

Белый лист бумаги, суровое зеркало
отражает тебя таким, как был.

Белый лист, у него твой голос,
твой,
а не тот, который ты любишь.
Твоя музыка — это жизнь,
которую ты растратил.
Если хочешь, верни ее,
коли сладишь с Безразличным, которое
вновь и вновь
отбрасывает тебя к началу.

Ты странствовал,
видел много солнц, много месяцев,

прикасался к живым и мертвым,
знал мужское горе, женский стон,
детскую обиду, —
но все познанное — лишь бесплотная груда,
если ты не доверишься этой пустоте.
Может быть, ты найдешь в ней свои утраты:
юный цвет и глуби праведной старости.

То, что отдал ты, — твоя жизнь;
то, что отдал ты, — эта пустота:
белый лист бумаги.

9 *<Люди>*

Ты рассказывал о том, чего они не видели,
а они смеялись.

Все равно — тебе плыть по темной реке
против течения,
идти по неведомой тропе
упрямо, вплотную,
и искать слова, пустившие корни,
как мозолистая олива, —
пусть смеются, —
и стремиться посеять мир иной
в это душное одиночество,
в руины времени, —
позабудь их.

Морской ветер, рассветная прохлада —
они есть, хоть их и не ищут.

10 *<Губы>*

В час, когда сбываются сны,
в первом сладком свете зари
я увидел, как раскрываются губы
лепесток за лепестком.

Тонкий серп засветился в небе.
Я боялся, что он их срежет.

11 *<Море>*

Это море называется тишь,
корабли и белые паруса,
тяжкий вздох бриза с сосен и Эгейской горы.
Твоя кожа скользит по коже моря
легко и тепло —
мысль неясная и тотчас забытая.

Но в расселинах
черным соком хлынул раненый спрут
в глубину, —
где конец, как подумать, прекрасным островам.

12 *<Зной>*

Набухает зной
в венах воспаленного неба.
Кровь взрывается —
она ищет обретения радости
по ту сторону смерти.

Свет — как пульс,
реже и реже,
и вот-вот остановится совсем.

13 *<Полдень>*

Солнце вот-вот замрет.
Призраки зари
дули в сухие раковины.
Птица пела лишь трижды и трижды.
Ящерица на белом камне,
неподвижная,
смотрит в выжженную траву,
где вьется уж.
Черное крыло резким взрезом метит
синий высокий свод:
вглядись, и он распахнется.

Воскресение в родильных муках.

14 *<Всесожжение>*

И вот
в плавленом свинце ворожбы —
блеск летнего моря,
обнаженность жизни,
путь, привал, уклон и подъем,
губы и лелеемая кожа —
все хочет сгореть.

Как сосна в полдень,
взбухшая смолой,
рвется родить пламя
и не терпит родильных мук, —

созови детей собрать пепел
и высеять.
Что свершилось, то правильно свершилось.

А чего еще не свершилось,
то должно сгореть
в этом полдне, где солнце пригвождено
в сердце столепестковой розы.

ТРАГЕДИИ

Было три великих греческих трагика: Эсхил, Софокл и Еврипид. Эсхил был могуч и величав, Софокл мудр и гармоничен, Еврипид изыскан и страстен. Трем трагикам повезло на трех русских переводчиков: два поэта-филолога и один филолог-поэт нечаянно сумели сделать эту разницу стилей еще выпуклее. Эсхил у Вячеслава Иванова стал архаичен и таинствен, как пророк; Софокл у Фаддея Зелинского — складен и доходчив, как адвокат; Еврипид у Иннокентия Анненского — томен и болезнен, как салонный декадент. Такими они и запомнились современному русскому читателю.

Всякий перевод деформирует подлинник, но у каждого переводчика — по-своему. Еврипид у Анненского пострадал больше всего. Во-первых — это заметили уже первые критики, — речь в античной трагедии логична, рассудочна, разворачивается длинными сложноподчиненными периодами. Анненскому это претит, он делает ее эмоциональной, романтически отрывистой, разорванной паузами-многоточиями, в которых должно сквозить невыразимое. Во-вторых, он многословен: почти каждые десять стихов подлинника разрастаются до тринадцати-пятнадцати, фразы удлиняются, перестают укладываться своими звеньями в отведенные им строки и полустишия, прихотливо перебрасываются из строки в строку, и от этого «дикционная физиономия» Еврипида (выражение Ф. Зелинского) теряется окончательно.

Когда я был молодой и читал трех трагиков в русских переводах, я очень радовался, что они стилистически так индивидуальны. Когда я вырос и стал читать их по-гречески, я увидел, что на самом деле они гораздо более схожи между собой — той самой общей «рассудочностью» античной поэзии, — а стилистические их различия гораздо более тонки, чем выглядят у Иванова, Зелинского и Анненского. Рассудочность в поэзии всегда мне близка, поэтому мне захотелось что-нибудь перевести из Еврипида, чтобы в противоположность Анненскому подчеркнуть именно это:

логичность, а не эмоциональность; связность, а не отрывистость; четкость, а не изломанность; сжатость, а не многословие. И чтобы показать, что при всем этом Еврипид остается Еврипидом и нимало не теряет своей поэтической индивидуальности. Я нарочно взял для перевода 5-стопный ямб с преимущественно мужскими окончаниями: он на два слога короче греческого размера, такое упражнение в краткости всегда дисциплинирует переводчика. Хоры для контраста переведены свободным стихом, как в переводе Пиндара. Начала строф, антистроф, «месодов» и эподов отмечены на правом поле.

Сюжет «Электры» — один из мифов о конце сказочного «века героев». Главных фигур в нем три: Агамемнон, царь Микен и Аргоса, предводитель греков в Троянской войне, жена его Клитемнестра и сын их Орест. На Агамемноне лежат три древних проклятия. Во-первых, прадед его Тантал, друг богов, обманывал их и обкрадывал и за это был наказан «танталовыми муками» в аду и несчастьями в потомстве. Во-вторых, дед его Пелоп хитростью приобрел себе жену и царство, а пособника своего Миртила погубил, и тот, погибая, успел его проклясть. В-третьих, отец его Атрей преступно враждовал со своим братом Фиестом: Фиест обольстил Аэропу, жену Атрея, ради золотого овна из его стада, Атрей зарезал детей Фиеста и накормил ими отца. За грехи этих предков Агамемнон погибает на вершине своего величия — с победою вернувшись из-под Трои. Его убивают Эгисф, сын Фиеста, и собственная жена его Клитемнестра, дочь Тиндара и сестра Елены, виновницы Троянской войны. Эгисф мстит ему за страдания отца, а Клитемнестра — во-первых, за то, что, отправляясь на Трою, Агамемнон ради попутного ветра принес в жертву богам их дочь Ифигению, а во-вторых, за то, что вернулся он из-под Трои с новой любовницей, «вещей девой» Кассандрой, дочерью троянского царя. После Агамемнона остаются двое детей: дочь Электра и маленький сын Орест. Ореста удается спасти и отправить на воспитание к Строфию, царю Фокиды (сын этого Строфия Пилад станет верным другом Ореста). Проходит лет десять, и Орест, выросши, возвращается, неузнанный, чтобы мстить родной матери за отца. Здесь начинается трагедия.

В трагедии Еврипида — шесть драматических частей, между которыми вставлены лирические части — песни персонажей или хора. В первой части главное лицо — пахарь, за которого выдана Электра; он рассказывает зрителям

предысторию событий. Во второй части главное лицо — Электра: к ней приходит неузнанный Орест с вестью, что брат ее жив и готов к мести. В третьей части главный — старик, когда-то спасший маленького Ореста; теперь он узнает Ореста по детскому шраму на лбу, и после общей радости все трое сочиняют план действий. В четвертой части главный — Эгисф: на сцене он не появляется, но вестник подробно рассказывает, как его убил Орест. В пятой части, самой длинной, главная — Климемнестра: ее вызывает Электра будто бы для помощи после (мнимых) родов, они ведут спор, а потом Орест за сценой убивает мать. После общего плача следует финал, шестая часть: «боги из машины», Диоскуры, братья убитой Клитемнестры, объясняют героям и зрителям, что должно случиться дальше. На Ореста нападут Керы (Эриннии), богини мщения за мать; он убежит в Афины, там предстанет с Керами перед людским судом на Аресовом холме (ареопагом) и будет им оправдан: вереница отмщений кончится. Друг его Пилад возьмет в жены Электру, а тела убитых будут погребены там-то и там-то.

Еврипид не первый разрабатывал сюжет «Электры»: им пользовались все три великих трагика, и каждый вносил свои подробности. Когда у Еврипида Электра говорит, что ни по пряди волос, ни по следу на кургане нельзя опознать человека (ст. 520 сл.), то это запоздалый спор с Эсхилом, у которого Электра именно по пряди и по следу догадывалась о возвращении Ореста. Новых мотивов у Еврипида было три. Во-первых, фигура пахаря, за которого унизительно выдана Электра: обычно считалось, что она оставалась в девицах. Во-вторых, Орест убивает Эгисфа, будучи принят им, как гость гостеприимцем; в-третьих, Электра зазывает Клитемнестру на смерть, вызвав ее человеческую жалость мнимыми родами. От этого в зрителе сильнее сострадание и к Электре, и даже к злодеям Эгисфу и Клитемнестре: недаром Еврипида называли «трагичнейшим из трагиков». И, конечно, только Еврипиду принадлежит в конце (ст. 1233, 1290) упрек богу Фебу-Аполлону, который приказал Оресту мстить и тем толкнул его на столько мук: у Еврипида была прочная слава рационалиста-богохульника.

Мимоходом в трагедии коротко упоминаются и другие мифы. Например, в песне о походе на Трою назван миф о Персее, победителе чудовищной Горгоны, изображенной на Ахилловом щите (ст. 455 сл.). В песне о предках Агамемнона речь о том, как когда-то Фиест обольстил Атрееву жену и по-

хитил его золотого ягненка, дававшего право на царство, но Атрей взмолился, чтобы в знак его правоты солнце в небе пошло вспять, и этим отстоял свою власть (ст. 695 сл.). А в финальной речи Диоскуров упомянут и древний миф о том, как бог Арес держал ответ перед земными судьями за убийство героя Галиррофия, и свежий миф о том, что Елена будто бы все время Троянской войны находилась не в Трое, а в Египте, где ее и нашел ее муж Менелай, брат Агамемнона. Кроме того, трагедия любит (особенно в песнях хора) перифрастические и синонимические выражения: Агамемнон — Атрид, Клитемнестра — Тиндарида, Аргос — инахийский край (по названию реки), в Микенах — киклоповы стены (по их строителям), Троя — Пергам, Илион, дарданский, фригийский, идейский, симоисский край; крылатый Пегас — «Пиренский скакун»; алфейские венки — венки Олимпийских игр близ города Писы и т. п.

Конечно, я не помышлял вступать в соперничество с Анненским. Его перевод полного Еврипида — подвиг, дело всей его жизни; он, видимо, еще долго будет единственным русским Еврипидом. Я предлагаю не альтернативу, а корректив: если читатель сравнит хотя бы одну страницу в переводе Анненского и в этом и представит себе, что подлинный Еврипид находится посредине, то это, может быть, позволит ему лучше представлять себе ту настоящую греческую поэзию, которая лежит за русскими переводами.

Еврипид

ЭЛЕКТРА

Действующие лица:
Электра, дочь убитого Агамемнона;
Орест, ее брат;
Клитемнестра, их мать;
боги *Диоскуры,* братья Клитемнестры.
Пахарь, муж Электры;
Старик, воспитатель Ореста;
Пилад, друг Ореста (без речей);
Вестник.
Хор подруг Электры.
Первый актер играет Электру, второй — Ореста,
третий — всех остальных.
Действие — перед хижиной Электры в окрестностях Аргоса.

Пахарь

— О древний Аргос, инахийский край,
Откуда строй Аресовых судов
Царь Агамемнон вел на Илион,
И вновь куда приплыл он, сокрушив
Властителя дарданского, Приама,
В высокие святилища сложить
Безмерную от варваров добычу!
Там победив, здесь, в собственном дворце,
Коварством Клитемнестры он погиб
От рук Эгисфа, отпрыска Фиеста,
И уронил танталов древний скиптр;
И ныне здесь державствует Эгисф,
На ложе взяв царицу Тиндариду.
А как в дому отплывшего царя
Остались сын Орест и дочь Электра,
То сына старый царский дядька спас
От рук Эгисфовых, суливших смерть,
Укрыв к фокейцам, в Строфиев удел;
Электра же осталась во дворце,
И расцвела годами, и ее
Искали в жены лучшие мужья
Меж эллинов: но чтоб ни от кого
Не породить отмстителя Атриду,
Ее Эгисф не выдавал на брак;
А опасаясь, что и в терему
Ей будет тайный муж и знатный сын,

Уже и ей приготовлял он казнь, —
Но мать сурово вызволила дочь:
С ее обидой в ней мешался страх
Стать ненавистной через смерть детей.
И вот что изобрел тогда Эгисф:
Кто сына Агамемнона убьет,
Тому назначил он богатый дар,
Электру же он отдал в жены мне,
Микенских предков позднему потомку —
Да, род мой светел, не в чем упрекнуть,
Но дом мой скуден, а по нищете
И благородство ставится в ничто:
Кто с виду слаб, пред тем и страх слабей.
Будь у Электры именитый муж,
Он разбудил бы память об убитом,
И на Эгисфа грянула бы месть.
Но и Киприде ведомо, и мне —
Муж деву не сквернил, она чиста:
Мне стыд претит бесчестить дочь владык,
Взяв в жены ту, которой я не ровня;
И жаль Ореста, если, воротясь,
Он, мнимый родич в аргосском дому,
Увидит горький брак своей сестры.
А если кто мне скажет, что смешно
Взять и не трогать девушку, тот знай:
Дурною мерой мерит он добро
И, верно, сам под стать подобной мере.

Пахарь, Электра

Э. — Темная ночь, мать сонма светлых звезд,
Ты видишь ли кувшин над этим лбом,
С которым я схожу к речной струе
Не от нужды, а чтоб явить богам
Обиду мне от гордого Эгисфа,
И слышишь ли мой стон к отцу в эфир?
Меня из дому выбросила мать,
Всепогубляющая Тиндарида,
Родив детей от нового отца,
А нас с Орестом отлучив от рода.
П. — Ты, выросшая в неге, для чего
Томишь себя ненужным мне трудом?
Послушайся меня и отступись.
Э. — Ты добр ко мне, как боги лишь добры:
Ты пожалел меня в моей беде,

А это счастье — в горе обрести
Целителя, подобного тебе.
Но я должна с тобой нести твой груз,
Пока достанет сил моих. И так
Твои заботы в поле тяжелы —
Так будь хоть дом на мне. Придя домой,
Рад труженик, что дом благополучен.
П. — Что ж, коли так — источник недалек,
Ступай. А мне чуть свет вести быков
В поля, где просят борозды семян.
Не потрудясь, никто не проживет,
Хоть всех богов он призывай в молитвах.

Орест и Пилад

О. — Пилад! Ты мне единственный из всех
Надежный друг и преданный товарищ:
Один лишь ты остался тверд в любви,
Когда я претерпел, что претерпел,
Когда Эгисф и гибельная мать
Отца повергли моего. Теперь
По тайной воле бога я пришел,
Неведомый, воздать им смерть за смерть,
Но в эту ночь почтил курган отца
Слезою, и отрезал прядь волос,
И агнчей кровью пепел оросил,
Таясь от тех, кто ныне здесь царит.
А этот замысел крепя другим,
От города держусь я в стороне,
Чтобы уйти через рубеж, когда
Меня застигнут в поисках сестры:
Мне говорили, что она уже
Не в девушках, а замужем живет;
Она со мной мою разделит месть
И мне расскажет все, что нужно знать.
Но полно! Блещет светлый взгляд зари —
Пора свернуть с протоптанной тропы:
Дождемся встречных: выйдет ли мужик
Или рабыня, я ее спрошу,
Не в этих ли местах живет сестра.
Смотри, уже какая-то из слуг
Бредет сюда, речной студеный груз
На стриженой вздымая голове.
Засядем и расспросим, друг Пилад,
О том, зачем пришли мы в эту землю.

Электра

— Крепче, крепче напор ноги: *с. 1*
Некогда плакать!
Горе мне, горе!
Дочь Агамемнона,
Рожденная Клитемнестрою,
Леденящей меж Тиндарид,
Убогая, в людях
Слыву я Электрой —
О, злые труды мои
И постылая жизнь!
А ты — в могиле
От меча жены и Эгисфа,
О мой родитель Агамемнон!

Вновь вскинь стон — *м.*
Слезную оживи радость!

Крепче, крепче напор ноги: *а. 1*
Некогда плакать!
Горе мое, горе!
Где дом, где город
Неволи бедного брата,
Несчастную в тереме
На злые муки
Бросившего сестру?
К страждущей — избавителем,
О Зевс, Зевс,
Отчей крови заступником
Приди он в Аргос
Блуждающею своею стопою!

С темени прочь кувшин — *с. 2*
Стонами в ночь к отцу
Проплачу
Скорбную надгробную песню!
Отец подземный,
К тебе — стенанья,
Которым вслед
В кожу рвутся ногти,
В волосы — пальцы
О смерти твоей!
А! а! в стриженое темя!
Как певчий лебедь
Из струй влажных

Милого отца кличет,
Сгинувшего в силке лживом,
Так и я плачу
О тебе, отрадный, —

В последнюю сшедший купель, *а. 2*
На смертную восшедший постель, —
Горе мое, горе!
В рушащемся ударе — горе!
В встретившем вернувшегося заговоре — горе!
Не повязями, не венками
Встретила жена мужа —
Мечом двуострым!
Бросив его на поруганье,
На лукавое взошла она ложе!

Электра, хор

Х. — Дочь Агамемнона! *с. 3*
Я спешу к твоей, Электра, хижине!
К нам пришел, к нам пришел
Горный ходок, выпоен молоком,
С вестью,
Что в Аргосе праздник
Через два дня в третий,
И все девицы
Сходятся к мощной Гере!

Э. — Не ликует сердце мое *м.*
Ни о блеске одежд,
Ни о золоте ожерелий;
В хоровом кругу
Меж аргосских невест
Не завьются гулкие ноги.
Слезами пляшу, о слезах дышу
Денно и нощно:
Волосы грязны,
Платье рвано —
Это ли впору
Дочери Агамемнона
И Трое,
Не забывшей его оружий?

Х. — Могуча богиня; *а. 3*
А у нас для тебя есть и платье тканое,
И утешное золото!

Слезами ли без богов
Одолеть тебе врагов?
Не стоном,
А набожною мольбой
Вернешь ты светлые дни,
Подруга!

Э. — Не слышит бог
Ни криков моих,
Ни крови отца —
Горе убитому,
Горе бродящему
В чужой земле
По рабской тропе
Отпрыску такого родителя!
А мне — томиться
В дому рукодельца,
В каменных предгорьях,
Изгнаннице отеческих сеней,
Меж тем, как мать
С новым мужем делит ложе убийства!

Х. — Недаром, знать, Елена ей сестра —
Вина всех бед для вас и всей Эллады.

Электра, Орест

Э. — Беда, подруги! Некогда рыдать:
Два чужеземца были здесь в ночи
И из засады вышли на меня.
Бегите прочь, а я укроюсь в дом:
Спасайте, ноги, от злодейских рук!
О. — Помедли, бедная: не бойся нас,
Э. — Феб Аполлон! не дай мне умереть!
О. — Ты не умрешь: умрут мои враги.
Э. — Не смей меня касаться: руки прочь!
О. — По праву я хочу тебя обнять.
Э. — С мечом в руках зачем ты здесь стерег?
О. — Остановись, и ты узнаешь все.
Э. — Стою и повинуюсь: ты сильней.
О. — Меня к тебе гонцом прислал твой брат.
Э. — О милый странник! Жив он или мертв?
О. — Утешу сразу: брат твой жив и здрав.
Э. — Век счастлив будь за то, что ты сказал!
О. — Обоим нам отрадна эта весть.

Э. — Где бедствует он в бедственном пути?
О. — Томясь в уставах разных городов.
Э. — Хватает ли насущного ему?
О. — Он сыт, но слаб: на то он и беглец.
Э. — Какую весть ты от него принес?
О. — Узнать, как ты живешь в твоей беде.
Э. — Иссохнувши всем телом: видишь сам.
О. — Истаявши от горя: слезный вид!
Э. — Ножом остригши кудри с головы.
О. — От горя ли о брате и отце?
Э. — О, не они ли мне дороже всех?
О. — Но и не ты ли всех дороже брату?
Э. — Он издали мне друг, а не вблизи.
О. — Зачем сама живешь в такой дали?
Э. — Затем, что смертный брак меня сковал.
О. — О бедный брат твой! муж твой из Микен?
Э. — Не тот, кому сулил меня отец.
О. — Скажи, и все я брату передам.
Э. — Вот дом, где я тоскую без него.
О. — Батрак или пастух в таком жилец?
Э. — Он беден, но хорош ко мне и добр.
О. — Но в чем же доброта его к тебе?
Э. — Он не касался ложа моего.
О. — Гнушаясь, или чистый дав зарок?
Э. — Он оскорблять не хочет род жены.
О. — Ужель ему такой не в радость брак?
Э. — Без права выдал выдавший меня.
О. — Боится муж, что отомстит Орест?
Э. — Да: потому что сам он духом здрав.
О. — Впрямь, муж твой добр и будет награжден.
Э. — ...Когда вернется тот, кого здесь нет.
О. — А матери твоей тебя не жаль?
Э. — Жене дороже муж, а не дитя?
О. — За что же так казнит тебя Эгисф?
Э. — Убогих он желает нам детей.
О. — Чтобы они не в силах были мстить?
Э. — О, будь ему по умыслу и мзда!
О. — Он знает ли, что дева ты досель?
Э. — Нет: мы о том молчали и молчим.
О. — А слышащие нас тебе верны?
Э. — Да: наших слов они не разгласят.
О. — Скажи: что может сделать здесь Орест?
Э. — Стыдись вопроса! Не настал ли час?
О. — Но как ему убить убийц отца?
Э. — Дерзнув на то, на что дерзнули те.

О. — И ты с ним руку занесешь на мать?
Э. — И тот топор, что был в ее руке!
О. — Сказать ли так Оресту? Ты тверда?
Э. — Кровь матери пролью — и пусть умру!
О. — О, если б это слышал здесь Орест!
Э. — Будь он и здесь — его мне не узнать.
О. — Конечно: ведь расстались вы детьми.
Э. — Его узнать бы мог один мой друг.
О. — Не тот ли, что его от смерти спас?
Э. — Да, старый дядька моего отца.
О. — А твой отец хотя бы погребен?
Э. — Ни да, ни нет: в гробу, но не в дому.
О. — Увы, что слышу? Таковы сердца:
Нам гложет душу и чужая боль.
Но говори, и брату отнесу
Я скорбный твой, но нужный твой рассказ.
Сочувствие живет не в тех, кто груб,
А в тех, кто мудр, и часто мудрецу
Бывает в тягость слишком тонкий ум.
Х. — Об этом же и я тебя прошу.
Здесь, вдалеке от всех аргосских бед,
Я их не знала, а хочу узнать.
Э. — Тогда скажу; не скрою от друзей
Моей и отчей горестной судьбы.
Ты, чужеземец, вызвал эту речь —
Скажи Оресту обо мне и нем!
Скажи, в каком я рубище хожу,
В какую хижину, в какую грязь
Я выброшена из палат царей,
Как этими руками на станке
Тку плащ себе, чтоб голой не ходить,
Как воду в дом ношу я из реки,
Как нет мне празднеств, хороводов, жертв,
Как стыдно мне, девице, между жен,
Как горько мне, что Кастор, ныне — бог,
Когда-то был мне родич и жених;
А мать моя воссела на престол,
Фригийскими добычами красна,
И азиатки, пленницы отца,
В индейских тканях, в пряжках золотых
Стоят вокруг, а сень еще черна
От крови отчей, и проливший кровь
На колеснице павшего стоит
И оскверняет чванною рукой
Жезл, предводивший эллинскую рать.

Гроб Агамемнона никем не чтим
Ни веткой мирта, ни струей вина,
Ни блеском дара над золой костра;
А ставший мужем матери моей,
Пьянея в блеске, топчет этот прах,
В надгробный столб дробящим камнем бьет
И наглым словом оскорбляет нас:
«Где ваш Орест? Достойно ли блюдет
Он отчий гроб?» А брата здесь и нет!
Так передай же брату моему:
Моею речью все его зовут:
Ладони, губы, сдавленная грудь,
Лоб стриженый сестры, и сам отец!
Для сына Агамемнона позор
Не выйти одному на одного:
Он юн и сын того, кто взял Пергам.

Электра, Орест, пахарь

Х. — Но вот я вижу: твой, царевна, муж
Окончил труд и движется домой.
П. — Как? чужеземцы у моих дверей?
Зачем они пришли в убогий дом?
Не я ли вдруг им нужен? Для жены
Нестаточно с юнцами говорить.
Э. — О друг, не думай дурно обо мне!
Сейчас ты все узнаешь сам: они
Гонцами от Ореста к нам пришли.
Простите, гости, нам крутую речь.
П. — Как? жив Орест и видит божий свет?
Э. — Они сказали: жив; я верю им.
П. — И помнит об отце и о тебе?
Э. — Надеюсь — да; но он беглец и слаб.
П. — Какую весть передает Орест?
Э. — Он их послал узнать, как мы живем.
П. — Всю видели, всю слышали беду?
Э. — Все знают: я не скрыла ничего.
П. — Зачем же не впустила ты их в дом?
Войдите, гости! За благую весть
Хозяин вам отплатит, чем богат.
Несите, слуги, вещи в дом! А вы,
Пришедшие от друга как друзья,
Не спорьте: хоть достаток мой и мал,
Но нет порока на моей душе.
О. — Скажи, не скрой: не тот ли это муж,
Кто в честь Ореста бережет тебя?

Э. — Да, муж-хранитель страждущей жены.
О. — Ах!
Не распознать, кто плох и кто хорош:
Добро и зло сплелись в роду людском.
Бывает низок сын больших отцов
И благороден сын убогих. Сам
Я видел дух голодный в богаче,
А в бедняке — возвышенную мысль.
Как различить, как оценить людей?
Богатством? Этот признак лишь собьет.
Так бедностью? Но в ней своя беда —
Нужда толкает смертных на порок.
По доблести в бою? Но не копье
Свидетель о достоинствах души.
О нет, вернее вовсе не гадать!
Вот человек: он меж аргивян мал,
Его не виден и не славен дом,
Он из толпы, но он один хорош.
Вы, ложным видом сбитые с пути,
Учитесь: благородство там лишь, где
Нрав и обычай говорят о нем.
Такие крепко держат дом и град;
А тем, в ком плоть сильна, а духа нет,
Как статуи, стоят лишь для красы;
Кто слаб, кто нет — у всех одно копье,
А дар и сила духа — не у всех.
Скажу я так: будь здесь или не здесь
Сын Агамемнона, пославший нас, —
Его достоин этот дом. Войдем;
И вы за нами, слуги. Мне милей
Приязненный бедняк, чем злой богач.
Я рад тому, как принял нас твой муж;
Но больше был бы рад, когда бы твой
Счастливый брат нас ввел в счастливый дом.
Быть может, так и будет? Феб нелжив,
Людские же гадания — ничто.
Х. — Теперь, царевна, мне, как никогда,
Отрада греет сердце. Неужель
Шагнет к добру неспешная судьба?
Э. — Зачем, несчастный, ты в убогий дом
Знатней себя зовешь к себе гостей?
П. — Затем, что если впрямь они знатны,
То бедность за обиду не почтут.
Э. — Для бедности не впору так судить.
Ступай же к дядьке моего отца —

Туда, где на Танайском берегу
Меж Аргосом и Спартою теперь
Он, изгнанный старик, пасет овец,
И попроси, чтоб из своих он средств
Принес нам угощенье для гостей.
Он будет сам благодарить богов,
Что тот, кого он спас, доселе жив.
А из дворца я помощи не жду:
Беда, коли узнает наша мать,
Несчастная, что сын ее — в живых.
П. — Иду и передам твои слова.
А ты сама ступай скорее в дом
И приготовь, что есть. Когда жена
Усердна, то и стол ее не пуст.
У нас еще достаточно добра,
Чтоб на день прокормить таких гостей.
Да, вот когда и я готов сказать,
Что деньги — сила: одарить друзей
Иди расходом одолеть болезнь —
Вот польза их; но на поденный корм
В них нужды нет: и бедный, и богач
Одной и той же сытостью живет.

Хор

— Славные корабли, *с. 1*
Несчетными веслами выгребшие на Трою,
Выводя с собой хор Нереид,
Где под флейту плясал дельфин,
Огибая синие ваши бивни, —
Вы несли Фетидина сына,
Легконогого на бегу Ахилла,
За Атридом
К Симоисскому прибережью Трои!

Нереиды, *с. 2*
Евбейские покидая угодья,
Золотой несли ему вслед Гефестов труд —
Щит и броню; а искали они героя
И на Пелионе,
И в дозоре нимф на дубравной Оссе,
Где конный его родитель
Выпестовал светоч Эллады
Для Атридов —
Легконогого морского сына Фетиды!

От приплывших из Троады в нашу Навплию *с. 2*
Слышали мы:
На щите твоем славном, сын Фетиды,
По кругу, на страх фригийцам,
Резаны знаки:
Огибая срединный горб,
Персей, над зыбью
Окрылив подошвы,
Отсеченный держит образ Горгоны,
А при нем — Гермес, гонец богов, сын ловчей Майи.

В середине щита пылает огненный *а. 2*
Солнечный круг,
Крылоногими устремляемый конями
В эфирные сонмы Плеяд и Гиад,
Отвращающих очи Приамиду;
А на шлеме в выпуклом золоте
Вещие сфинксы
Когтят добычу;
А на панцире огнедышащая львица
Мчится когтем вслед пиренскому скакуну;
А на древке, несущем смерть,
В черной пыли рвутся четверо коней. —
И таких вождя копьеносцев,
Зло помыслив,
Умертвила ты, неверная Тиндарида!
Но знаю: вышние боги
Бросят и тебя в гибель,
И под смертным горлом
Кровь мне сверкнет из-под железа!

Старик, Электра

С. — Где, где моя хозяйка молодая,
Дочь царская, питомица моя?
Ах, крут ведет подъем к ее жилью
Стопам морщинистого старика!
Но ради тех, кто любит нас, не жаль
Ни дрожи ног, ни сгорбленной спины.
О дочь моя, ты вышла на порог,
А я тебе несу из наших стад
Ягненка-сосунка из-под овцы,
Сыр из корзин, плетеные венки
И старый дар Лиэевой лозы,
Который скуден, но душист, и всласть
Прибавит вкуса слабому питью.

Пусть это подадут твоим гостям;
А я овчиной этого плаща
Утру сначала слезы на глазах.
Э. — Откуда слезы, добрый мой старик?
Мою ли вновь припомнил ты беду,
Ореста ли изгнанника печаль
Или отца, которого ты сам
Взрастил не в прок ни ближним, ни себе?
С. — Не в прок; но вот причина этих слез.
Я шел дорогой, где курган царя,
И, одинокий, пал пред ним в слезах,
И развязал суму, что нес гостям,
И с возлияньем возложил венок,
Как вдруг увидел: на кургане кровь,
И мертвый черный жертвенный баран,
И пряди русых срезанных волос.
И я подумал: кто посмел почтить
Гробницу? Вряд ли кто из аргивян;
Так уже не твой ли, о царевна, брат
Прешел тайком на скорбный прах отца?
Взгляни на прядь и приложи к своим:
У срезанных волос не тот же ль цвет?
А ведь обычно схожи видом те,
В чьих жилах кровь от одного отца.
Э. — Ты неразумно, старец, говоришь:
Мой брат не трус, Эгисф ему не в страх,
Ему ль таиться в отческой земле?
И меж волос ведь пряди прядям рознь,
Когда одну питала пыль палестр,
Другую — женский гребень. А потом,
Нередко неотличен цвет кудрей
И там, где нет меж стригшихся родства.
С. — Там, верно, есть следы: примерься к ним
И посмотри, не схожа ли ступня?
Э. — Следам ли быть на каменной земле?
Но если там и есть печать стопы,
То брат с сестрой на ней не совпадут —
Мужская больше девичьей нога.
С. — Но если бы твой брат сюда пришел,
Ты бы узнала ткань свою, покров,
В котором я его от смерти спас?
Э. — Ты знаешь: я была еще мала,
Лишаясь брата. Тканный на дитя,
Не надобен для юноши покров:
Одежды вместе с телом не растут.

Нет: это добрый странник срезал прядь
Или аргосец обманул надзор.
С. — Но где же гости? Я и сам хочу
Их увидать и расспросить о брате.
Э. — Они уже спешат к вам из дверей.

Старик, Электра, Орест

С. — Да, вид их благороден; но душа
И в благородном может быть дурна.
И все же, чужестранцы, вам — привет!
О. — Как и тебе, старик. Скажи, Электра:
Какого друга перед нами тень?
Э. — Он — раб, вскормивший моего отца.
О. — Как? Тот, кто вынес брата из беды?
Э. — Да: если он спасен, то спасший — вот.
О. — А!
Но почему он смотрит на меня,
Как будто я чеканом с кем-то схож?
Э. — Быть может, рад, что ты Оресту сверстник.
О. — И почему так топчется кругом?
Э. — Сама гляжу и удивляюсь, гость.
С. — О дочь моя, воздай хвалу богам!
Э. — За тех, кто здесь, или кого здесь нет?
С. — За то, что драгоценнее всего.
Э. — Хвала богам! Но объяснись, старик.
С. — Взгляни: вот тот, кто всех тебе дороже.
Э. — Боюсь, старик, ты не в своем уме.
С. — Как не в своем уме? Да это — брат!
Э. — Что ты сказал? Не смею повторить.
С. — Орест, сын Агамемнона, он — вот!
Э. — Какой примете верить я должна?
С. — Вот этот шрам над бровью — с тех времен,
Как маленьким ловил он лань царя.
Э. — Не может быть! Да, вот — паденья след.
С. — И медлишь ты припасть к нему, любя?
Э. — О, нет, старик! Красноречив твой знак:
Сомнений в сердце нет. О, наконец
Я обняла тебя!
О. — А я — тебя.
Э. — Не думав, не гадав!
О. — Ни ты, ни я.
Э. — Ужели это ты?
О. — Споборник твой,
Коль вытащу закинутую сеть.

И вытащу! Ложь правды не сильней —
Иначе кто бы веровал в богов?

Х. — Ты пришел, пришел,
Ты факелом вскинулся над городом,
Долгожданный день
Давнего скитальца из отчих мест!
Это бог, бог
Вывел нам победу, подруга!
Руки ввысь, клики ввысь,
Громче богу молись,
Чтобы брат вступил в град
Счастливо, счастливо!

О. — Да будет так. Отраден ваш привет,
А моему еще настанет срок.
Ты вовремя пришел, старик. Скажи:
Как отомстить убившему отца
И матери, делившей ложе зла?
Есть в Аргосе у нас еще друзья,
Или судьба лишила нас всего?
Кого мне встретить? Ночью или днем?
Как проложить мне путь к моим врагам?
С. — Дитя! У несчастливца нет друзей.
Легко ль найти такого, кто пойдет
Делить с тобой и радость и беду?
Пойми, услышав: за тобою нет
Ни дружбы, ни надежды на нее.
Теперь, отбить ли град, вернуть ли дом, —
Твоя судьба крепка тобой одним.
О. — Как мне достичь того, что ты сказал?
С. — Убей Эгисфа, и с Эгисфом — мать.
О. — Я с этим и пришел сюда; но как?
С. — Не во дворце: там взять их мудрено.
О. — Там всюду стража с копьями в руках?
С. — Да: там тебя боятся и не спят.
О. — Так что же ты советуешь, старик?
С. — Послушай: у меня явилась мысль.
О. — Благую мысль и я принять готов.
С. — Я шел сюда и видел я Эгисфа.
О. — Я понял, что хотел сказать ты. Где?
С. — На конских пастбищах, невдалеке.
О. — Надежда есть! Но что же делал он?
С. — Готовил приношения для нимф.
О. — Он ждет или дождался сыновей?
С. — Не знаю, но готов заклать тельца.

О. — Людей там много? иль одни рабы?
С. — Свободных — нет, невольников — толпа.
О. — Они меня узнают или нет?
С. — Они тебя не видели, Орест.
О. — А если победим, они — за нас?
С. — Как все рабы; и это нам с руки.
О. — Но как же мне приблизиться к нему?
С. — Так, чтобы издали попасть на вид.
О. — Вдоль пастбища пойду я по тропе.
С. — И сам он позовет тебя на пир.
О. — Дай бог, чтобы я был недобрый гость!
С. — О том, что делать дальше, думай сам.
О. — Ты хорошо сказал. Но где же мать?
С. — Ждет в городе; но будет и она.
О. — А почему она не там, где муж?
С. — Таится, трепеща дурной молвы.
О. — Ее не любит, стало быть, народ.
С. — Ее нечестье ненавистно всем.
О. — Но как убить и мужа и жену?
Э. — О матери оставь заботу мне!
О. — Я вижу, что удача к нам щедра.
Э. — А этот друг подмогой будет нам.
С. — Да будет так! Но в чем же твой расчет?
Э. — Ты скажешь Клитемнестре от меня,
Что я ей внука родила и жду.
С. — Давно или недавно родила?
Э. — Сегодня — очищенье от родов.
С. — Но разве это принесет ей смерть?
Э. — Она придет ослабнувшей помочь.
С. — Ты думаешь, ты так ей дорога?
Э. — Ей будет жаль, что в скудной доле внук.
С. — Пусть так. Но к цели речь свою направь!
Э. — Она придет, и это ей конец.
С. — Так дай ей бог вступить на твой порог!
Э. — И станет он порогом гробовым.
С. — Дожить бы, увидать и умереть!
Э. — Но прежде, старец, брата проводи.
С. — Туда, где встал Эгисф у алтаря?
Э. — А после — с вестью к матери скорей.
С. — Все передам верней, чем ты сама.
Э. — А твой, Орест, единый долг — разить!
О. — Иду разить; пусть мне укажут путь!
С. — Я быть твоим вожатаем готов.
О. — Ты, отчий Зевс, гроза моих врагов,
Сжалься над нами: жалок наш удел!

Э. — Сжалься над нами: от тебя наш род!
О. — Ты, Гера всех микенских алтарей,
Дай в правом деле правде победить!
Э. — Дай правде стать возмездьем за отца!
О. — А ты, отец, подземный узник зла,
И ты, земля, к которой я припал,
Будь милым детям помощью, отец!
Приди с подземным полчищем бойцов,
Которые низвергли Илион,
И для которых нечестивец — враг!
Ты слышишь нас, погибший от жены?
Э. — Он слышит, знаю; но пора вперед!
И помни мой завет: Эгисфу — смерть!
Знай, если ты не выстоишь в борьбе,
То и меня не почитай в живых:
На жизнь мою готов двуострый меч,
С ним в хижине я буду ждать вестей:
И если радость долетит до нас,
То криком счастья огласится дом,
А если смерть — иным. Таков мой сказ.
О. — Я понял.
Э. — Будь же настоящий муж!
А вы, подруги, шум его борьбы
Домчите до меня. Здесь, за стеной
Я буду сторожить с клинком в руке,
Чтоб недруг и в победе бы не смог
Натешиться глумленьем надо мной.

Хор

Х. — В седой молве Аргосских гор *с. 1*
Жив слух:
Пан, блюститель стад,
Сладкую дышащий песнь
В слаженную славно свирель,
От кроткой овцы
Златорунного вынес людям ягненка,
И с каменных ступеней
Вестник возвестил:
Все сюда, микенские граждане!
Вот оно — блаженству наших владык
Знамое знаменье!
И дворец царей взгремел хороводами.

В золоте для жертв распахнулся храм, *а. 1*
По аргосским алтарям

Взыграл огонь,
Звонкой отрадой зацвел
Стебель, служитель Муз,
Распускаясь в песнь
Золотому агнцу Фиеста, —
Ибо это он,
На тайный склонив союз
Милую Атрееву жену,
Выкрал золотобокое чудо
И крикнул в народ,
Что в дому своем пасет круторогое.

Тогда, тогда *с. 2*
Заворотил Зевес
Светлые тропы светил,
И солнечные лучи,
И белое лицо зари;
Тогда солнце занесло бич божьего огня
На закатные хребты,
Тогда хлынули тучи к Медведицам,
И без вышнего дождя
Иссохли Аммоновы обители.

Такова молва; *а. 2*
Только верить ли молве?
Впрямь ли сбит с пути
Златоезжий солнечный жар
Ради смертных обид
На горе земнородному люду?
Страшные сказки
Сложены учить нас почитать богов, —
И о них-то позабыв,
Мать общих детей, ты сгубила мужа!

Электра, вестник

Х. — Но чу!
Я слышу крик, подруги; или мне
Почудилось? Он как подземный гром!
Донес встающий ветер внятный звук.
Электра! Госпожа! Покинь свой дом!
Э. — Что, что, подруги? как свершился бой?
Х. — Не знаем; но звучал нам смертный стон.
Э. — Звучал и мне: далекий, но звучал.
Х. — Он ясно долетал издалека.

Э. — Аргивянин кричал или друзья?
Х. — Не знаю: вдалеке не различить.
Э. — Ты мне вещаешь смерть — да будет смерть!
Х. — Помедли: не ясна еще судьба.
Э. — Ясна: мы все погибли! Где гонцы?
Х. — Придут: убить царя не легкий труд.
В. — С победой вас, о дочери Микен
И все друзья, — победа за Орестом!
Убийца Агамемнона Эгисф
Простерт во прахе. Чествуйте богов!
Э. — Но кто ты? Веры нет твоим словам.
В. — Служитель брата: посмотри, признай!
Э. — О дорогой! испуг мне помешал
Узнать твое лицо. Да, это ты;
Так повтори: погиб злодей отца?
В. — Погиб; скажи, и снова повторю.
Х. — О весть, о бог, о Правды зрячий взор!
Э. — Но как Орест нанес ему удар?
Скажи: я обо всем желаю знать.
В. — Когда мы вышли из твоих сеней,
То двинулись проезжей колеей
Туда, где именитый царь Микен
В своем саду над берегом ручья
Срезал цветущий мирт на свой венок.
Он крикнул нам; «О странники, привет!
Откуда вы, и кто вы, и куда?»
«Мы фессалийцы, — отвечал Орест, —
И к Зевсу в Пису с жертвою идем».
Эгисф, услыша это, молвил так:
«Останьтесь, гости, на моем пиру:
Я нынче нимфам приношу тельца;
Вы завтра утром снова троньтесь в путь,
А нынче дом мой ожидает вас».
И за руку берет нас, и ведет,
Не слушая отказов, в царский сад.
Когда вошли мы, он велит рабам
Подать воды — омыть своих гостей,
Чтоб с чистыми руками им предстать
У алтаря. Орест ему в ответ:
«Мы только что омылись у ручья,
И мы готовы к жертве, если царь
Сзывает к ней и граждан и гостей».
Эгисф не спорит. Царские рабы,
Хранительные копья отложив,
Хватаются за нужные дела:

Ведут тельца, несут в корзине нож,
Огонь разводят, ставят к очагу
Котлы из бронзы, — дом гремит, как гром.
Муж матери твоей, святым зерном
Алтарь осыпав, возглашает так:
«О нимфы скал, пусть не в последний раз
Мы с Тиндаридой жертвами вас чтим,
Себе на благо и врагам во зло!» —
То есть, тебе с Орестом. А Орест
Молился, но безгласно, об ином —
Об отчем доме. Взявши длинный нож,
Эгисф срезает тельчей шерсти клок,
Ее бросает в пламя алтаря
И вскинутого слугами тельца
Разит в затылок. А потом сказал:
«Две славы есть у фессалийских рук —
Уздать коней и свежевать быков;
Возьми же, странник, нож и докажи,
Что не напрасна эта похвала!»
Орест берет дорийский крепкий нож,
Расстегивает и роняет плащ,
Зовет Пилада к помощи, а слуг
Всех отстраняет, за ноги тельца
Берет, с размаху вспарывает жир
И, обнажив от шкуры торс быстрей,
Чем конник дважды огибает круг,
Вскрывает взгляду внутренность. Эгисф
Берет в ладони печень. Лопастей
В ней не было, а жила и пузырь
Срослись, суля смотрящему беду.
Царь помрачнел лицом. Тогда Орест:
«Чем ты смущен?» — «О странник, я боюсь
Засады у дверей. Мой злейший враг,
Сын Агамемнона, еще в живых».
Орест в ответ: «Ты царь, а он беглец:
Тебе ль бояться? Прикажи подать
Мне фтийский нож дорийского взамен —
Я вскрою грудь, и добрым станет мир!»
Он рубит. В руки внутренность схватив,
Эгисф над нею голову склонил.
Тогда Орест, привставши на носки,
Бьет в позвонок, дробит ему хребет,
Тот, рухнув, бьется телом вверх и вниз
И в корчах принимает злую смерть.
Рабы хватают копья и толпой

Бросаются на них двоих; но те
Стоят, бесстрашно выставив клинки.
Орест кричит напавшим: «Я не враг
Ни гражданам, ни челяди моей,
А эта смерть — лишь месть за смерть отца:
Не троньте нас, Атридовы рабы,
Я — злополучный ваш Орест!» И вот
Они сдержали копья, и один
Старик, давно служивший во дворце,
Его признал. Все в радости кричат
И возлагают на него венок.
Теперь и сам он шествует сюда
Явить, как лик Горгоны, труп Эгисфа,
Чья кровь была лихой лихвой за кровь.

Х. — В пляс, в пляс —
Как легкий олень.
Ввысь, ввысь мечет блещущие ноги!
Алфейских венков
Краше, краше братняя победа!
Пой, пой
Следу в лад победительную песню!

Э. — О день мой, о четвероконный блеск,
О прах, о ночь, мне застившая взгляд,
Как вольно я гляжу на белый свет
С тех пор, как пал Эгисф, злодей отца!
Пусть вынесут из горницы моей
Все, все, что красит гордое чело,
Чтоб увенчать победоносца брата!

Х. — Вознеси, вознеси красу
Для его чела,
И я выпляшу пляс на радость Музам!
Наши древние цари
Вновь взойдут над аргосскими землями,
Правдою неправду поправ!
Сердцу в лад гряньте радостные клики!

Электра, Орест

Э. — Победный сын победного отца,
Перед которым рухнул Илион,
Прими, Орест, венок твоим кудрям!
Не в праздном беге ты его стяжал —

Ты поразил того, кто поразил
Отца и твоего и моего!
И ты, стоявший с ним плечом к плечу,
Сын набожного Строфия, Пилад,
Прими венок — вы бились наравне,
И будьте оба счастливы вовек!
О. — Сперва богам, подателям удач,
Хвала твоя, Электра, а потом —
И мне, кто служит богу и судьбе.
Не словом я, а делом победил,
И чтобы каждый видел, что Эгисф
Погиб, вот труп его передо мной:
Брось, если хочешь, хищному зверью
Или распни гвоздями на столбе
Стервятникам подоблачным на снедь:
Он был твой господин — теперь твой раб.
Э. — Робею, но хотела бы сказать...
О. — О чем? Бояться нечего — скажи!
Э. — Обиду мертвым вменят мне в вину.
О. — Никто тебя не смеет упрекнуть.
Э. — Недобр наш город и готов к хуле.
О. — Скажи, о чем желаешь. Мы с тобой
Равны в непримиримой с ним вражде.
Э. — Да будет так. С чего начну? чем кончу?
Как поведу перечисленье зол?
О, я встречала каждую зарю,
Лелея речь, которую швырну
Тебе в лицо, когда избуду страх!
Страх кончился; теперь, не жив, так мертв,
Ты выслушаешь все, что я скажу.
Ты погубил нас и осиротил,
Лишив невинных милого отца,
Ты гнусно взял на ложе нашу мать,
Убив вождя тех войск, где ты не шел;
Ты думал, в темной слепоте ума,
Что та, с кем осквернил ты отчий одр,
Не будет вероломна твоему?
О, нет: творивший блуд с чужой женой,
А после вставший с ней в невольный брак —
Несчастен, если верит, что она
Там не блюла стыда, а здесь блюдет.
Ты жил во зле, не замечая зла,
Затем, что знал — нечестен ваш союз,
И знала мать, что муж ее — злодей.
Два нечестивца под одной судьбой,

Ты — ей, она — бедой была тебе.
Ты слышал изо всех аргосских уст:
«Он — при жене, а не при нем жена!» —
А это стыд, когда жена берет
Над мужем верх, и это срам, когда
Детей, живущих при живом отце,
Не по отцу — по матери зовут:
Затем, что где жена знатней, чем муж,
Там счет идет по ней, не по нему.
Но хуже обманулся ты, решив,
Что станешь человеком, став богат:
Богатство в доме — мимолетный гость;
В природе наша сила, не в деньгах,
Она всегда при нас против всех бед,
А деньги, нажитые не путем,
Недолго поцветут и улетят.
О женщинах не стану говорить —
Мне, девушке, приличен лишь намек:
Ты вольничал, как царь в своем дому
И как красавец в красоте своей.
А мне в мужах милей не вид, а нрав:
Чтоб сыновьям их богом был Арес,
А не досужий хороводный круг.
Умри же, сам не ведая, за что,
Злодей, не помышлявший о расплате!
Кто сделал, не споткнувшись, первый шаг,
Тот не гордись, что Правду превозмог,
Пока не миновал ты смертной грани!
Х. — Он делал зло и поплатился злом:
Великую имеет силу Правда.
О. — Да будет так. Рабы, внесите в дом
И в темном месте скройте мертвеца:
Пусть не увидит мать, пока жива.
Э. — Остановись! изменим разговор.
О. — Что видишь ты? Подмогу из Микен?
Э. — Нет: мать, что родила меня на свет.
О. — Она сама идет к нам прямо в сеть.
Э. — На колеснице, в блещущем плаще!
О. — Что делать? Как убить родную мать?
Э. — Едва увидел — и готов жалеть?
О. — Родившую, вскормившую — убить?
Э. — Да: как она убила нам отца.
О. — О Феб! ты неразумное вещал.
Э. — Но если Феб безумен — кто же мудр?
О. — Безумен, кто велит зарезать мать.

Э. — Мстить за отца — какой же в этом грех?
О. — Мать умертвить — сквернейшая из скверн.
Э. — Бесчестен, кто не защитит отца.
О. — Мать взыщет воздаяние за смерть.
Э. — А кто — за неотмщенного отца?
О. — Не дух ли мести в боге говорил?
Э. — С священного треножника? Не верю!
О. — А я не верю, что приказ тот благ.
Э. — Поддавшись на дурное, станешь трус.
О. — Раскинуть перед нею ту же сеть?
Э. — Да, ту же сеть, в какую пал Эгисф.
О. — Иду. Ужасен долг, ужасен труд,
Но если боги так хотят — будь так.
О, горькая и сладкая борьба!

Клитемнестра, Электра

Х. — Тиндарида, царица аргосской земли,
Родная сестра
Двух славных юношей Зевса-отца,
Чей дом — в эфире меж огненных звезд,
Чей долг — в морских соленых валах
Спасать пловцов, —
Привет! для нас ты подобна богам
По блеску богатств, по большой судьбе;
Спешим, спешим в уделе твоем
Тебе мы служить, царица.

К. — Фригиянки, сойдите с колесницы;
Подайте руку; я за вами вслед.
Из всех добыч, что блещут в честь богам,
Удел мой за погубленную дочь —
Рабыни эти из пергамских стен:
Непышный дар, но дому не в позор.
Э. — А я, изгнанница, а я, раба,
Сменивши отчий кров на жалкий кров,
Коснусь ли, мать, твоих блаженных рук?
К. — Рабыни мне помогут: не трудись.
Э. — Но почему? И я — в чужом плену,
И дом мой взят, и я взята на щит,
И тоже сиротею без отца.
К. — Отец твой злое мыслил против тех,
Кто был ему всех лучше и родней.
Так говорю, хоть знаю и сама:
Когда худа о женщине молва,

То кажется недобр ее язык.
И зря: кто знает, в чем исток вражды,
Тот прав, а кто не знает, пусть молчит.
Тиндар, Атриду дав меня женой,
Ни мне, ни детям не назначил смерть;
А он, Ахиллу высватавши дочь,
Увез ее к авлидским кораблям
И там на Ифигению мою
Занес над белым горлом смертный серп.
Добро бы он, спасая от врага
И град, и дом, и остальных детей,
Убил одну во имя всех; но нет —
За то, что у Елены низок нрав,
А муж был слаб неверную казнить,
Для них он погубил мое дитя.
Но я и эту вынести беду
Сумела бы, и муж остался б жив,
Когда бы он не взял к себе на одр
Вещунью-деву, вестницу богов,
Двух пожелавши жен в одном дому.
Не спорю, неразумен женский род,
И если муж, неверный сделав шаг,
Минует ложе брачное, тогда
Жене, как мужу, новый нужен друг.
Но муж, виновник, от упреков чист,
А нам грозит согласная хула.
Ведь будь похищен муж моей сестры,
Царь Менелай, и чтоб его спасти,
Я на Ореста занесла бы нож, —
Отец стерпел бы? Мне была бы казнь —
Будь и ему за смерть моих детей!
И я казнила, а чтобы казнить,
Я обратила путь к его врагам —
Кто из друзей бы встал со мной вдвоем?
Ответь же, если хочешь, и смелей:
Не справедливо ли погиб отец?
Э. — Ты правду говоришь, но в правде срам.
Жена должна покорна быть во всем
Перед супругом, ежели умна;
А кто глупа, о той и речи нет.
Не позабудь же, мать, что ты сама
Мне приказала говорить смелей!
К. — Так я сказала и не отрекусь.
Э. — Но, выслушав, не сделаешь ли зла?
К. — Нет: я к твоей душе пришла с добром.

Э. — Тогда начну, и вот с чего начну:
Дай бог тебе красивей быть душой!
Лицо твое достойно всех похвал,
Как у сестры, но суетен ваш дух,
И Кастор вам не по заслугам брат.
Сестра твоя дала себя украсть,
А ты на мужа, лучшего меж всех,
Напала, словно мстя ему за дочь;
Но я-то знаю, как никто другой:
Еще не ведав, что постигнет дочь,
Едва ты мужа проводила в путь,
Как ты уже у зеркала плела
Прядь к русой пряди; мой же сказ — жена
Дурна, коль не для мужа хороша:
Зачем ей выставлять свою красу
Всем напоказ, как не замыслив зло?
Я знаю, ты меж эллинок одна
Туманилась от эллинских побед
И радовалась вражеским, в мечте,
Что не вернется в дом к себе Атрид.
О, разве трудно верной быть женой,
Когда твой муж, избранник общих сил, —
Заведомо не хуже, чем Эгисф,
Когда Елена тенью скверных дел
Лишь ярче славу делает твою,
И добродетель учится на зле?
Ты говоришь: он дочь твою убил.
Но чем виновны брат мой или я?
Зачем, убив отца, ты отчий дом
Не уступила детям, а взяла
Корыстного наложника в мужья?
Зачем не он в изгнании, а сын?
Зачем не он казнен, а я казнюсь,
И вдвое злейшей казнью, чем сестра?
О, если смерть — возмездие за смерть,
То я и брат должны тебя убить,
И правда — с нами, как была с тобой!
Нет: глуп, кто ради чести и богатств
Берет дурную за себя жену —
Простым, но чистым браком крепче дом.
Х. — Что правит браком? Случай: одному
Хорошая жена, другому — нет.
К. — Дитя! ты рождена любить отца.
Так водится на свете: для одних
Дороже мать, а для других — отец.

Я не сержусь. Не в радость мне самой
Все, с чем пришлось мне встретиться в пути.
Но ты, дитя, ты, только что родив, —
И не омыта, не облачена?
Увы! несчастной волею моей
Ввела я мужа в слишком сильный гнев.
Э. — К чему стенать? В стенаньях проку нет.
Отец мой мертв; но почему досель
Ты терпишь, что в изгнании Орест?
К. — Боюсь не за него, а за себя:
Он гневен, говорят, за смерть отца.
Э. — Зачем ты терпишь, что жесток твой муж?
К. — Крут нрав его; и ты ведь такова.
Э. — Боль жжет меня; но я сменю свой гнев.
К. — Тогда к тебе смягчится и Эгисф.
Э. — Он слишком горд, что захватил мой дом.
К. — Теперь сама ты разжигаешь брань?
Э. — Молчу: каков Эгисф — таков мой страх.
К. — Оставим спор. Зачем меня звала?
Э. — Ты знаешь, мать: я нынче родила,
И время жертвам о десятом дне,
А я не знаю чина: услужи
Неопытной, родящей в первый раз.
К. — Обряд вершит помогшая родить.
Э. — Я родила без помощи, одна.
К. — Неужто без соседей этот дом?
Э. — Кому желанны нищие друзья?
К. — Иду. Да будет свят урочный срок.
А совершивши жертву за тебя,
Я выйду в поле, где сейчас мой муж
Справляет службу нимфам. Вы, рабы,
Коням задайте корму; а когда
Закончу я обряд, то будьте здесь:
Жена должна и мужу угодить.
Э. — Войди же в скудный дом. Не запятнай
Одежды сажей с закопченных стен.
Да, полной жертвой ты почтишь богов:
Корзина здесь, отточен нож, и бык
Пал под ножом, и рядом рухнешь ты,
И в смерти будешь ты ему жена,
Как ты ему была при свете дня.
Вот дань моя тебе за жизнь отца!

Х. — Казнь за казнь — с.
Переменен ветер над этим домом!

Был час:
Пал мой царь над купелью,
Восстенали стены.
Отгрянули каменные башни:
«Жена, жена!
Погубила ты меня без жалости,
О десятом вернувшегося севе!»

За отливом — прилив: *а.*
Перебежчицу настигает Правда —
Тщетную жену,
Нескорого сразившую супруга
Меж киклоповых стен,
Сжав двуручьем точеную секиру.
Несчастный муж,
В несчастной жене нашедший гибель —

Грянувшей, как львица напав, *э.*
Как насельница горных дубрав!..

К. — О дети, ради богов, не троньте мать!
Х. — Ты слышишь? в доме кричат!
К. — Смерть моя, смерть!
Х. — Так плачу я над павшей от детей своих:
Приходит час, и бог свой правит суд.
Жестокое мужу терпеть, бесчестное дело свершив,
Жене — за мужа!

Орест, Электра

Х. — Но вот они выходят из дверей,
Кровь матери на их руках свежа —
Победный знак за тот последний вскрик.
О, не было и нет на всей земле
Несчастней рода, чем Танталов род!

О. — Ты, Земля, *с. 1*
Ты, всезрящий над смертными Зевс,
Киньте взгляд на погибель и проклятие —
Два трупа в прахе от нашей руки,
Переплату мук моих!
Э. — Слезам о них нет меры, брат, и я — виной!
Злополучная,
Шла в огонь я на мать, меня носившую!
Х. — Горе тебе в страшной судьбе,
Страдная, безотрадная,

От родимой претерпевшая крови,
За отцову смерть платясь перед Правдой!

О. — Феб, Феб, *а. 1*
Ты мне пропел месть,
Ты воочию свершил несказуемое,
Смертоносный брак
Из земли выкорчевав эллинской!
А мне куда? Кто, чтящий богов,
Вскинет взор на убийцу матери?
Э. — А мне, увы? мне куда?
В какой край? в какой брак?
Какой муж
Меня примет на радостное ложе?
Х. — Новый ветер
По-новому взвеял твои мысли!
Ныне ум твой благ, а было не так,
Когда в страшный удар
Вздымала ты невольного брата!

О. — Видела ты, как распахнула она грудь *с. 2*
И швырнула в смертный прах
Тело, носившее меня,
И душа моя обессилела!
Х. — Знаю, знаю; ты шагнул в ужас,
Слезные услыхав стоны
Матери, тебя отстрадавшей!

О. — Руки протянув мне к подбородку, *а. 2*
Выкрикнув: «Молю, сын мой!..» —
На щеках она моих повисла,
И из рук моих выпало железо!
Х. — Горе мое, горе! Как вынесли вы, глаза
Смертные материнские вздохи?

О. — Я накинул на очи плащ, *с. 3*
Я вскинул над жертвой меч,
Я в шею ударил мать.
Э. — А я тебя выкликнула в бой,
Я с тобой твою сжимала рукоять.
Х. — Злейшую ты выполнила из бед.

О. — Накинь же на тело ткань, *а. 3*
Сень для ран
Породившей на себя же кончину!

Э. — Милая наша и немилая,
Вот тебе ткань...
Х. — Наших бедствий последняя грань.

Диоскуры, Орест, Электра

Х. — Ввысь очи, ввысь! над кровлей дворца
Какие нам демоны предстают
Или небесные божества?
Их путь — несмертный; зачем, зачем
Они являются взорам?

Д. — Сын Агамемнона! услышь: к тебе
Речь держат братья матери твоей —
Я, Кастор, и близнец мой Полидевк.
Оставив бурям корабли в морях,
Мы Аргосу предстали, видя смерть
Сестры моей и матери твоей.
Убийство — праведно, убийца — нет,
А Феб, а Феб... но он — мой царь; молчу:
Бог мудр, но он немудрое прорек,
А наш удел — согласие. Сверши,
Что о тебе судили рок и Зевс.
Электру пусть возьмет женой Пилад;
А ты, Орест, покинь Аргосский край:
Здесь места нет для матереубийц.
Богини Керы, зоркие, как псы,
Тебя погонят по тропе безумств,
Пока в Афинах ты не припадешь
К богине-деве, и пока она,
Тебя щитом Горгоны оградив,
Змеиным страхом ловчих не спугнет.
Там есть Аресов холм, где в оны дни
Был суд богов о крови пролитой,
Когда за обесчещенную дочь
Зарезал Галиррофия Арес —
Того, кто был царю морскому сын;
И у бессмертных нет суда святей.
Туда твой путь, там лягут голоса
За жизнь твою и смерть твою равны,
И ты спасешься, ибо примет Феб
Вину за то, что вел тебя на мать;
И с той поры останется закон,
Что равный голос означает жизнь.

А гнавшие богини скроют стыд
Под тем холмом в расщелинах земли,
Став чтимым прорицалищем для всех.
Ты сам пойдешь к алфейским берегам,
Где ждут тебя ликейский храм и град,
Который будет зваться по тебе, —
Вот твой удел. Зарубленный Эгисф
Аргивянами будет погребен;
А мать твою схоронит Менелай,
Из покоренной Трои воротясь
С Еленою, которую найдет
В Протеевой египетской земле,
А не в Пергаме, где вражду и смерть
Лишь призраком Елены сеял Зевс.
Твой друг Пилад, муж девственной жены,
К родной Фокиде обратит стопы,
А названного зятя твоего
Возьмет с собою, щедро одарив.
Итак, Орест, за перешейный Истм
Спеши спастись к Кекропову холму,
Избудь свой рок за пролитую кровь
И, отрешась от мук, пребудь блажен.

Х. — О чада Зевса! А нам, а нам
Дозволено ль вторгнуться в вашу речь?
Д. — Дозволено; вас не пятнает кровь.
О. — А я, Тиндариды, решусь ли сказать?
Д. — Решись: убийству причиною — Феб,
Вот слово мое.
Х. — Вы, двое богов, вы, братья сестры,
Павшей под меч,
Почему не отвратили вы Керу?
Д. — Неизбежность вершила ее судьбу
И неладная весть из Фебовых уст.
Э. — А мне, а мне какой Аполлон
Назначил в удел убить мою мать?
Д. — Общему делу — общий удел:
От одних отцов
Одна обуяла вас злоба.
О. — Поздно мы свиделись, сестра, сестра,
И вновь я лишаюсь твоей любви —
Теряю тебя, потерян тобой!
Д. — У нее есть муж, у нее есть дом,
И только Аргоса больше нет;
О чем горевать?

О. — Горевать, лишаясь отчей земли, —
Какие стенания тяжелей?
Ведь и мне, и мне из родимых стен
Идти предстать пред чужим судом
За убитую мать!
Д. — Смелей, твой путь —
К святыне Паллады; умей терпеть.
Э. — Грудью на грудь прильни ко мне,
Любимый брат:
Разводит нас из отчих сеней
Смертным призраком наша мать.
О. — Обойми, сожми и заплачь, заплачь,
Как плачут, милого хороня!
Д. — Увы, увы! тяжелы и богам
Слова твоих уст:
И нам и не нам в небесах врождена
Тоска о страждущих смертных!
О. — Не увидеть мне тебя!
Э. — Не припасть к твоим очам!
О. — Последние слышу твои слова!
Э. — Мой Аргос, прости!
Простите, аргивянки-подруги!
О. — О, верная моя, и ты уже в путь?
Э. — Иду, и слезы висят в глазах!
О. — Прости, Пилад!
Будь мужем моей Электре.
Д. — Да будет так; а ты поспеши
От гончих богинь в афинский предел:
Вот они, вот — по твоим пятам,
Их руки — змеи, их кожа — как ночь,
Их пища — боль человечьих мук!
А нам — лететь по эфирным полям
Плечом к плечу в Сицилийский понт
Спасать суда в соленых валах;
И от нас нечестивец подмоги не жди —
Лишь тех, кто в жизни своей земной
Правду чтит и святыню чтит,
Вызволяем мы из невзгод и бед.
Никто не смей неправды желать,
Никто не смей с преступником плыть, —
Так, бог, говорю я смертным.
Х. — Прощайте и радуйтесь! О, кто мог
Радость знать, а беды не знать, —
Тот истинно ведал счастье.

Переведя «Электру», я решил перевести смежную по сюжету трагедию «Орест». В ней Еврипид переиначивает традиционный сюжет по-другому. Пахаря нет, зато есть вернувшийся из-под Трои Менелай с Еленой, их дочь Гермиона и отец Елены и Клитемнестры — Тиндар. Вместо быстрой развязки, обещанной Диоскурами, сочинен новый эпизод: он и составляет содержание трагедии «Орест». В ней три части. Первая — статичная: Орест, уже терзаемый Эриниями, ждет народного суда, который принесет ему оправдание, изгнание или казнь; а Елена, Менелай и Тиндар демонстрируют все более откровенную враждебность к нему. Здесь — эмоциональная кульминация трагедии, бред и изнеможение Ореста; и здесь — смысловая кульминация, спор Ореста с Тиндаром о своей вине. Вторая часть — повествовательная: рассказ вестника о прениях и о приговоре народного собрания: Орест осужден на казнь, Электра и хор плачут. Третья часть — динамичная, сочинение и развертывание интриги: чтобы отомстить и спастись, Орест и Пилад убивают Елену, грозят смертью Гермионе и требуют, чтобы Менелай добился им оправдания. Здесь — стилистическая кульминация трагедии, изображение случившегося глазами трусливого евнуха-раба. Концовка — явление Аполлона, весть о вознесении Елены и примирение Ореста с Менелаем. Я начал перевод тем же размером и стилем, что и в «Электре»:

Электра и спящий Орест, потом Елена

Э. — Нет слов таких, нет мук таких, нет бед,
Богами насылаемых на смертных,
Которых бы не вынес человек.
Блаженный — без попрека говорю —
Тантал, хотя и Зевсом был рожден,
Повис под страшной глыбой в высоте,
Платясь — так говорит молва — за то,
Что он, который из земных людей
Один был зван в высокий пир богов,
Безумно разнуздал о нем язык.
Ему был сын Пелоп, тому — Атрей,
Которому прядущая судьба
С Фиестом, братом, выпряла вражду.
Но что о несказанном говорить?
Атрей убил детей во снедь отцу.
Атрею же от критянки жены
Царь Агамемнон, славный, да не впрок,
И Менелай спартанский рождены.
Взял Менелай постылую богам
Елену, Клитемнестру же стяжал
Царь Агамемнон — это ли забыть?
Три дочери его — Хрисофемида,
Вторая — Ифигения, и я —
Электра, и единый сын — Орест —
От нечестивой матери, врасплох
Опутавшей и умертвившей мужа;

За что — мне, деве, молвить не к лицу.
Винить ли Феба за неправый глас,
Велевший сыну занести на мать
Клинок, бесчестьем грянувший на всех?
Но он повиновался и убил,
А с ним и я, хоть женщиной слыву,
И друг Пилад, помощник всех трудов.
С тех пор томит Ореста злая хворь,
И вот лежит он, пав на бедный одр,
Кровь матери ему застлала взор
Безумием, и страх его — от тех,
Кого и не назвать: от Евменид.
Шесть дней с того, как материнский труп
Объял всеочищающий огонь,
Он ни куска не принимает в рот,
Ни каплею не омывает рук,
В час облегченья плачет под плащом,
А вновь безумясь, рвется с ложа прочь,
Как жеребец, не знающий ярма.
Народ постановил не уделять
Ни крова, ни огня, ни даже слов
Нам, матереубийцам. Нынче день,
Когда голосованием решат,
Нам кончить жизнь под градом ли камней
Или согрев своею кровью нож.
Одна лишь есть надежда уцелеть:
Из Трои приплывает Менелай,
Вся Навплия полна его судов,
Из долгого скитанья по морям
Стремящихся к причалам; а жену,
В которой вся причина всех скорбей,
Сюда прислал он ночью и тайком,
Чтобы никто, чей сын под Троей пал,
Каменьем не побили бы ее.
Елена здесь, и плачет о сестре;
Одна утеха ей в ее скорбях —
Дочь Гермиона, та, кого она
Оставила, бежав, в дому отца,
А тот привез выкармливаться к нам:
Лаская дочь, мать забывает боль.
И вот я не свожу с дороги глаз:
Где Менелай? Бессильны мы спастись,
Коли не он — спаситель нам. Увы!
Злосчастен род и безысходен рок.

Е. — Дочь Агамемнона и Клитемнестры,
Скажи, Электра, долгая меж дев,
Как стала ты и кровный твой Орест
Убийцами для матери своей?
Мне речь твоя не в скверну, потому
Что для меня всему виновник — Феб;
Но Клитемнестра мне была сестра,
Которой я с тех пор, как божья страсть
Меня послала на троянский путь,
Не видела, и плачу, потеряв.
Э. — Что мне сказать, Елена? Посмотри
Сама, в какой беде Атридов сын,
И я над ним без сна: он как мертвец,
С чуть слышным вздохом в жалостной груди.
Я никого не обвиняю — но
Ты счастлива, и счастлив твой супруг,
Несчастным нам представшие в беде.
Е. — На это ложе он давно ли слег?
Э. — Тотчас, как пролилась родная кровь.
Е. — Как страждет сын! и как погибла мать...

То, что получилось, мне совсем не понравилось. Выровненный и судорожно сжатый ямб, стопы по швам, становился сам себе стереотипом, — как будто язык окостенел, все выражения клишировались, и текст звучит утомительно-однообразно. Я отталкивался от Анненского как от крайности словесной вольности — теперь передо мною была крайность словесной строгости, такая же неприятная. Пришлось отталкиваться от самого себя. Я отказался от сковывающего 5-стопного ямба; а чтобы свободный стих не был слишком уж свободным, я постарался, чтобы строки имели преимущественно женские окончания, а длина их, сообразно длине строк оригинала, сама получалась по большей части в четыре слова.

Поначалу показалось, что такой размер действительно более гибок и лучше передает искусную трогательность еврипидовских интонаций. Действительно, жалостливые сцены получались в таком размере выразительнее — как будто герои сходили с котурнов. Но Еврипид не весь насквозь жалостлив, и скоро стало ясно, что текст опять-таки получается однообразен — на этот раз не возвышенным, а сниженным однообразием, какой-то разговорною воркотнею. Чем дальше я двигался по «Оресту» через строгие агоны, четкие диалоги и напряженные сюжетные повороты, тем больше я разочаровывался в выбранном средстве. Четырехударный свободный стих — гибкое выразительное орудие, и я не сомневаюсь, что в нем можно изыскать такие дополнительные ритмические ограничения, которые заставят его звучать и торжественно, и убедительно, и динамично. Но я этого сделать не сумел. При неудачах принято утешительно говорить, что отрицательный результат эксперимента тоже плодотворен. Я хотел, чтобы не утомлять читателя, напечатать здесь только часть этой большой трагедии, но подумал, что это нехорошо по отношению к Еврипиду: все-таки он интереснее, чем его переводчик.

ОРЕСТ

Действующие лица:
Орест, сын Агамемнона;
Электра, его сестра;
Пилад, его друг.
Менелай, брат Агамемнона;
Елена, дочь Зевса, его жена;
Гермиона, их дочь;
Тиндар, отец Елены;
Фригийский евнух, раб Елены.
Вестник.
Бог *Аполлон*.
Хор подруг Электры.
Первый актер играет Ореста (и Вестника), второй Электру (и Аполлона), третий всех остальных.
Действие — в Аргосе, перед царским дворцом.

Электра и спящий Орест

Э. — Нет такого страшного слова,
Ни страды, ни напасти от всевышних,
Чтоб не пали гнетом на человека.
Блаженный (мне не стыдно сказать: блаженный)
Тантал, слывущий отпрыском Зевса,
Распростерся в воздухе и трепещет
Глыбы, нависшей над головою.
Это, говорят, расплата за то, что
Он, смертный, принятый в пиры бессмертных,
Не сдержал язык — о, гнусная одурь!
Он родил Пелопа, Пелоп — Атрея,
Которому выпряла богиня участь
Враждовать с единокровным Фиестом, —
Но как сказать мне о несказанном?
Атрей зарезал детей ему для пира...
О, дальше ни слова! Сыны Атрея —
Менелай от критянки Аэропы
И славный (ежели славный) Агамемнон.
Менелай взял в жены Елену,
Постылую богам; Агамемнон —
Именитую меж эллинов Клитемнестру,
И родил он трех дев — Хрисофемиду,
Ифигению и меня — Электру,
Да единого сына — Ореста.
Но сгубила нечестивица мужа,
Опутавши бескрайнею тканью,

А за что — девице сказать невместно.
Так вменить ли Фебу в неправосудье,
Что велел он Оресту умертвить
Мать его родную? Не все похвалят —
Но Орест не ослушался и убил,
А с ним — я, в женскую мою меру,
И Пилад, общий наш сопоспешник.
С той поры несчастный Орест
Болен дикою болью и тает
Здесь, на ложе, от материнской
Обезумев крови. Выговорю ли имя
Евменид, истерзавших его страхом?
Шестой уже день, как пламя
Очистило тело убитой,
А Оресту — ни глотка, ни омовенья.
То, когда его хворь отпустит,
Он, очнувшись, спрячет лицо в одежду
И горько плачет, а то взметнется с ложа
И как конь из-под ярма, бунтует.
В Аргосе постановлено не давать нам
Ни огня, ни крова, ни слова,
Ибо мы — матереубийцы.
Сегодня скажет голосованье,
Пасть ли нам под градом каменьев,
Или бросить нас шеями под секиру.
Одна нам надежда на спасенье:
Менелай плывет из-под Трои,
Навплию заполнил кораблями
И уж правит к берегу после долгих
Плаваний, а виновницу многих
Слез, Елену, выслал перед собою
В дом наш ночью, чтоб никто не увидел
Из тех, чьи сыны пали под Троей,
И не грянул камнем. И вот в палатах
Она плачет о сестре и о доме.
Одно ей утешение в скорби —
Гермиона, оставленная в Спарте,
И которую Менелай перед отплытьем
Отдал мне и матери в воспитанье.
Ей она рада, с ней забывает горе.
Вот и я гляжу на дорогу,
Не увижу ли Менелая,
Без которого нам, слабым, не уберечься:
Безысходно в дому злополучье.

Электра, Елена

Е. — Дочь Агамемнона, дочь Клитемнестры,
Вековечная девственница, молви, Электра,
Как, несчастная, ты и брат твой,
Страдный Орест, стал для матери убийцей?
Говори без страха, мой спрос — не скверна,
Что было неверного — вина на Фебе!
А плач мой — о доле моей сестры,
Которую я с тех пор, как в Трою
Поплыла, как поплыла, по страсти от вышних,
Не видала, и вот — одна кричу над судьбою.
Э. — Что сказать, Елена? Сама ты видишь,
Какая беда на Атридову породу:
Вот я, без сна, сижу при бедном мертвом,
Ибо впрямь он мертв: так едва-едва он дышит, —
Сижу, никого не виня в несчастье.
Но счастлива ты и муж твой,
Вернувшись к нам, измученным бедою!
Е. — Давно ли он не сходит с этого ложа?
Э. — С тех пор, как пролил родную кровь.
Е. — Бедный! Но мать — как она погибла?
Э. — Так случилось, и нет исхода.
Е. — Умоляю, девушка, окажи мне услугу!
Э. — Если даст недосужное бдение над братом.
Е. — Сходи за меня к сестре на могилу!
Э. — К матери? ты просишь? но чего ради?
Е. — Отнести прядь волос моих и возлить возлиянье.
Э. — Не сама взойдешь ты к родному гробу?
Е. — Мне стыдно себя показать ахейцам.
Э. — Срам — бежать, а теперь чиниться поздно!
Е. — Правда твоя, но недобрая твоя правда.
Э. — Чего ж тебе пред микенянами стыдно?
Е. — Боюсь я тех, чьи сыны легли под Троей.
Э. — Да, бойся: весь Аргос кричит о тебе криком.
Е. — Так сложи с меня страх, окажи мне милость!
Э. — Нет: могила матери мне ужасна.
Е. — Невместно мне с этим посылать прислужниц.
Э. — А дочь свою Гермиону?
Е. — Пробираться в толпе — не к лицу девице.
Э. — Это плата умершей: ведь та ее вскормила.
Е. — Ты правду сказала, и я тебе послушна:
По слову твоему пошлю Гермиону.
Дочь моя! выйди из покоев;
Вот прядь волос моих и вот возлиянье:

Ступай и вокруг Клитемнестрина кургана
Брызни вином, молоком и медом,
Стань над насыпью и так ей молви:
«Льет тебе дары сестра твоя Елена,
В страхе сама прийти ко гробнице
От аргосской черни». Да будет благосклонна
Она ко мне, к тебе, и к мужу,
И к этим двум, загубленным богом.
Обещай ей все, какие подобают
От сестры сестре приношенья мертвым.
Ступай, дитя, поспеши к могиле,
Возлей возлиянье и не медли обратно!

(*Уходит.*)

Э. — Ах, природа, сколько зла в людях
И сколько счастья рожденным в благой доле!
Она и остриглась лишь по кончикам прядей —
Бережет красоту: все та же Елена!
Да не взлюбят боги тебя, погибель
И моя, и брата, и Эллады! Увы мне!
Но вот и подруги, общницы стенаний.
О, как бы они не разбудили дремы
Затихшего брата, и слезным взглядом
Не глядели бы на его безумье!
Ах, милые женщины, тише, тише,
Ни стука, ни звука, —
Ваша мне любезна любовь, но если
Спящий проснется — настанет горе.

Электра, хор

Х. — Тише, тише... неслышною подошвою *с.*
Ни стука, ни звука...
Э. — Стороною от постели, стороною!
Х. — Слышу, слушаюсь...
Э. — Ах, ах! легче вздоха тростинчатой свирели,
Милая, говори мне!
Х. — Слышу: как под крышу, я скрыла шепот.
Э. — Хорошо...
Бесшумно, бесшумно, не тронувшись, не двинувшись,
Молвите, девушки: что вам?
Только что задремал он!
Х. — Что с ним? молви нам, милая: *а.*
Как ему понесчастьилось?
Э. — Дышит, но дышит со стоном.

Х. — Бедный!
Э. — Сладкую благодать дремоты
Не свевай с его век: погубишь!
Х. — От бога он мучится злодеяньем,
Бедный! страдный!
Э. — Неправо, неправо сказана, приказана
Кривословом Локсием с Фемидина треножника
Смерть не в смерть — матери моей!
Х. — Смотри: шевельнулся под тканями! с.
Э. — Ах, это ты
Криком из сна его вырвала!
Х. — Думала я: он спит...
Э. — Прочь от меня, прочь от него, из дому прочь
Выкружи топочущий след!
Х. — Он спит...
Э. — Да, спит...
Х. — Славная, державная ночь,
Многотрудным людям дарительница сна,
Встань из Эреба,
Низкие крылья
Вскинь над чертогом Агамемнона,
Где беда, где боль,
Где ближе мы, ближе мы к погибели!
Э. — Топотами, топотами
Тише, тише,
Шумом губ не спугни, подруга,
Благодатного сна с его ложа!
Х. — Где конец? *а.*
Э. — В смерти!
Ему уж и корм не в корм.
Х. — Видим воочию.
Э. — Феб нас принес в жертву,
Черную повелев кровь нам
Матери-отцеубийцы.
Х. — Правда его — недобрая правда.
Э. — О мать,
Ты убила и ты убита;
Погубив отца — погубила и детей,
Ибо мы уже как мертвые:
Брат — как труп,
И моя исходит жизнь
Стонами, воплями, слезами еженощными;
Вот я, вот —
Безбрачная и бездетная,
Черное мое житье влачу без исхода...

Электра, Орест

Х. — Электра, подруга, погляди: ты рядом, —
Твой родной не умер ли незаметно?
Не нравится мне, что слишком он размаян.
О. — Ах, сон-ласкатель, недужный целитель,
Как твой приход нуждающемуся сладок!
О, властная мудрость забвенья муки,
Всеми несчастными молимая богиня!
Откуда я здесь? Как сюда попал я?
Не помню: прежний ум меня покинул.
Э. — Милый, ты спал, и как была я рада!
Хочешь, тебя возьму и приподыму я?
О. — Возьми, возьми и с горьких у страдальца
Губ и глаз оботри спекшуюся пену.
Э. — Вот: сладко ухаживать, и нестыдно
Братнее тело сестре лелеять.
О. — Боком к боку придвинься, космы
Откинь от лица: зрачки мои незрячи.
Э. — Бедная голова, сбившиеся кудри,
Как ты одичала, давно не мыта.
О. — Нет, уложи меня снова:
Слаб я, точно кости ушли из тела.
Э. — Вот; дорого болящему ложе:
На нем больно, а без него невозможно.
О. — Нет, опять поверни и усади меня прямо:
Не угодишь беспомощному больному.
Э. — Хочешь, ноги обопри оземь
И протяжно шагни: тело любит перемену.
О. — Хорошо: хоть с виду похоже на здоровье.
Пусть будет с виду, коли не по правде.
Э. — Братец: попробуй меня послушать,
Пока голова ясна от Эринний!
О. — Что нового? Доброе — скажи на радость,
А злое — и так с меня его довольно.
Э. — Менелай, отцовский брат, приехал:
В Навплии он уж бросил причалы.
О. — Как? приспел он? свет в наших бедах,
Родич наш и должник отцовский?
Э. — Приспел, и вот тебе подтвержденье:
С ним Елена из стен троянских.
О. — Лучше бы ему одному вернуться:
Прибыть с женою — значит прибыть с бедою.
Э. — Да, недобрая слава по Элладе:
Все клянут Тиндарееву породу.

О. — Только ты будь не такой, как другие, —
Не такой и в слове и в думе.
Э. — Братец, братец! глаза твои мутятся:
Ты сейчас был разумен, а стал — безумен.
О. — Мать моя, мать, не насылай, отгони —
У них волосы — змеи, лицо — как кровь,
Вот они — травят, травят!
Э. — Бедный, лежи, не вскакивай, не бойся:
Ты их не видишь, а думаешь, что видишь.
О. — Феб, Феб! они меня убьют!
Песьи дикие морды, и за ними — ад!
Э. — Не пущу, не пущу, обойму руками,
Не дам тебе рваться на твое же горе!
О. — Пусти, Эринния! ты одна из тех:
Ты меня хватаешь, чтоб сбросить в смерть!
Э. — Горе мне, бедной! где искать подмоги,
Если сами боги немилосерды?
О. — Дай лук роговой, Локсиев дар,
Им велено мне разить богинь,
Нагоняющих безумье, бешенство, страх!
Э. — Смертною ли рукою ранить бессмертных?
О. — Разить, коли не скроются прочь от глаз!
Слышите? видите? с высоты
Крылатые срываются стрелы!
А! а!
Не мешкайте! взбейте крыльями эфир,
И — к Фебу, виновнику вещаний!
Как?
Почему я слабну и задыхаюсь?
Куда, куда я бросался с ложа?
Из бурных волн встает затишье.
Родная, зачем ты плачешь, лицо укрывши?
Мне стыдно, что я своею хворью
Взваливаю мой груз на девичьи плечи.
Не томись моею бедою:
Ты лишь молвила «да», а я сделал дело —
Пролил кровь нашей матери. Вина — на Фебе:
Это он мою поднял руку,
А утешил лишь пустыми словесами.
Если бы мертвого отца спросил я,
Дерзнуть ли мне на мать мою, то, право,
Он меня заклинал бы моею бородою
Не заносить меча над родившей:
Ведь ему все равно не увидеть света,
А мне, несчастному, терпеть такие муки.

Открой же голову, сестрица,
Отдохни от слез, хоть горя и много.
Когда вновь увидишь меня обуянным, —
Тогда исковерканный мой рассудок
Подкрепи и утешь. Но пока ты стонешь —
Это я должен быть тебе утешитель.
Тем, кто любит, легка забота.
Ступай же, бедная, в палаты,
Ляг и сном смежи бессонные веки,
Омойся, подкрепи себя пищей!
Ведь ежели ты меня покинешь
Или надо мной заболеешь,
Мы погибли: такой я одинокий.
Э. — Нет! жить с тобою, умереть с тобою —
И только! ведь если тебя не станет,
Что мне делать, женщине? как спасусь я
Без отца, без брата, без друга? Если
Хочешь, я уйду: только ты останься
И раскинься на ложе, не подпуская
Ничего, что пугает тебя и гонит.
Даже кто здоров, а думает, что болен,
Безысходной в нашей доле мучится мукой.

Хор

Х. — Гей! гей! с.
Крылатые бегуньи,
Буйственные богини,
Дольщицы бесхмельного хмеля,
В плачах, в стонах,
Черные Евмениды,
Бьющие крыльями в эфир,
Рвущие плату за кровь, за смерть, —
Молю, молю:
Вызвольте сына Агамемнона
Из-под гона безумящего бешенства!
О, какими муками оглушен,
Гибнешь ты,
Внявши с треножника
Фебово, Фебово слово
Там, где вскрылся слывущий пуп земли
Бездной!

Зевс, Зевс! а.
Смертная жалость,

Смертная грянула борьба
На тебя, жалобный Орест, —
Слезы в слезы
Множит мстящий демон,
Материнскою кровью обуревая
Дом, тебе на безумье!
Скорблю, скорблю:
Нет меж смертных прочного счастья!
Так, парус
Быстрой ладьи сотрясая, демон
Топит груженую невзгодами
В крутнях гибельных волн.
Какой же род
Петь, коли не Танталов,
Поросль от небесных супружеств?

Но вот я вижу: сюда спешит э.
Царь Менелай в великой красе
    Танталидиных нег,
    Потомок владык.
Привет, о, погнавший парусный полк
    На Азийский брег,
Собеседник счастья! Тебе далось
От богов по твоим молитвам.

Орест, Менелай

М. — О царский дом, радостно тебя увидеть
После Трои, но горестно оплакать,
Ибо ни единый очаг на свете
Не терзался такой круговертью бедствий.
Я уведал, что Агамемнон
Принял смерть от руки супруги,
Когда плыл я сквозь Малейские прибои:
Встал из вод вещун мореходный,
Нелживый Главк, сын Нерея,
И прорек мне прямыми словами:
«Менелай, твой родной лежит во прахе,
Пав от жены в последнем омовеньи!» —
И наполнил слезами меня и плывших.
А коснувшись Навплийской суши
И уже пославши сюда супругу,
Когда чаял я объять объятьем
Ореста, Агамемнонова сына,
С Клитемнестрой, обоих благополучных, —

То услышал от неких рыболовов
О нечестивом убийстве Тиндариды.
Где же грешник, скажите мне, девицы!
Когда я уплывал под Трою,
Был он у нее на руках дитятей,
И его я, увидев, не узнал бы.
О. — Я — Орест, которого ты взыскуешь,
Сам готовый поведать о всех невзгодах.
Но позволь мне прежде припасть к коленям,
Пусть и без просительской ветви:
Выручи! Ты в пору явился.
М. — Боги! что вижу! Не покойник ли ожил?
О. — Да, я вижу свет, но от горя мертв.
М. — Дик твой вид, и кудри косматы.
О. — Не страшен вид, но страшны дела.
М. — Сурово смотришь ты сухими зрачками.
О. — Минуло тело, осталось имя.
М. — Не таким ждал я тебя увидеть.
О. — Я убийца матери: в этом — всё.
М. — Слышал; сдержись от недобрых повторений.
О. — Сдержусь, но не сдержится демон, мстя.
М. — Но что с тобою? Какие снедают хвори?
О. — Совесть: сведомость страшного греха.
М. — Невнятен сказ, а лишь внятное разумно.
О. — Гложет меня тоска...
М. — Бог суровый, но умолимый.
О. — ...и безумье, казнь за материнскую кровь.
М. — С какого дня безумье? давно ли?
О. — С того, как над матерью встал курган.
М. — Дома или у погребенья?
О. — Ночью, при сборе материнских костей.
М. — Был ли кто поддержать твое тело?
О. — Пилад, со мной деливший кровь и смерть.
М. — Какими призраками встают недуги?
О. — Три девы видятся, и все — как ночь.
М. — Я их знаю: имен не надо.
О. — Да: их, грозных, лучше не звать.
М. — И они бушуют за матереубийство?
О. — Погоня, погоня, и нет конца.
М. — Кто зло свершил, тот от зла и мучься!
О. — Но есть оправданье моей вине.
М. — Только не смерть: это неразумно.
О. — Сам Феб велел мне зарезать мать.
М. — Он ли не знает добра и правды!
О. — Есть боги в небе, мы их рабы.

М. — Но твоей беде Аполлон не в помощь?
О. — Он медлит: таков обычай богов.
М. — А давно ли мать испустила душу?
О. — Шесть дней: могильный прах не остыл.
М. — Быстро же взыскали материнскую кровь.
О. — Пусть я не мудр, но я друг друзьям.
М. — Месть за отца пошла ли тебе на пользу?
О. — Нет: бесплодна медлительность богов.
М. — А с горожанами каково ты ладишь?
О. — Мерзок всем: со мною не говорят.
М. — И ты не очистил рук от крови?
О. — Куда ни пойду, на домах запор.
М. — Кто из граждан требует твоего изгнанья?
О. — Иак, ненавистник Трои и отца.
М. — Я понял: он мстит за смерть Паламеда.
О. — Не мне: я сам стражду за троих.
М. — Кто же остальные? друзья Эгисфа?
О. — Они надмеваются надо мной.
М. — И скиптр Агамемнона тебе не отдан?
О. — Нет; а скоро отнимут и жизнь.
М. — Как, если можешь сказать понятней?
О. — Сегодня — голосованье о нас.
М. — Решат: изгнанье, казнь иль спасенье?
О. — Решат: побить камнями или нет.
М. — И ты не бежишь, не шагнешь через границу?
О. — Медные латы — кольцом вокруг.
М. — От Аргоса или от врагов порознь?
О. — От Аргоса, на мою погибель.
М. — Ах, несчастный! Ты у последней грани.
О. — Лишь в тебе надежда спастись от смерти!
По счастью придя к несчастным,
Удели друзьям от своих благополучий,
И чтобы не быть единственным в счастье,
Возьми и от нас долю наших бедствий:
Этим ты долг свой отцу отплатишь.
Кто не приходит в беде на помощь,
Тот лишь словом друг, а не делом.

Орест, Менелай, Тиндар

Х. — Но вот спешит сюда старческою стопой
Тиндар Спартанский в черном плаще.
И обритый от горя по дочери.
О. — Я погиб, Менелай. К нам идет Тиндар,
Которого мне стыднее всего

Видеть за все его добрые дела.
Он вскормил меня, целовал меня,
На руках носил с женою Ледою,
И любил меня, сына Агамемнона,
Как родных своих Диоскуров.
Злополучны сердце мое и дух,
Что я воздал ему не добром.
Куда мне спрятать лицо? Каким
Заградиться облаком от его очей?
Т. — Где, где мой зять Менелай?
Я прослышал о возлиянии на гробнице
Клитемнестры и о том, что после многих
Лет вернулся он в Навплию с женою.
Приведите меня, я встану справа
И скажу долгожданному приветы.
М. — Здравствуй, старец, деливший ложе с Зевсом!
Т. — Здравствуй и ты, Менелай, зять мой!
Горько не ведать того, что будет:
Вот: пред домом матереубийца,
Как змееныш, мечет больные взгляды.
И ты, Менелай, говоришь с нечистым?
М. — Да: отец его был мне братом.
Т. — У такого отца — такое исчадье?
М. — Но и его уважим в несчастье.
Т. — Стал ты меж варваров сам, как варвар.
М. — А кто эллин, тот знает, как чтить единокровных.
Т. — Но знает и то, что закон превыше.
М. — Всякое принуждение для мудрого — рабство.
Т. — Делай, как знаешь, а я не буду.
М. — Да: гнев и старость мудрости не подмога.
Т. — Здесь, при Оресте, о мудрости ли спорить?
Кто ясно видит, что благо и что не благо,
Тому ли не видно, что он — глупее глупых,
Позабыв о правде,
Отшатнувшись от эллинских законов?
Когда выдохнул свой дух Агамемнон,
Пораженный моею дочерью в шею
(Да, гнусный удар, я не перечу!) —
Вступи в суд о священной крови,
Обвини и выгони мать из дома, —
И прославишься умом, а не злосчастьем,
Будешь законолюбив и благочестен.
А он тому же демону дался,
Что и мать, и на ее беззаконье,
Убивая, ответил еще худшим.

Менелай, ты только скажи мне:
Вот убей его законная супруга,
А ее за это — его наследник,
И так дальше, убийство за убийство, —
Где тогда конец злополучью?
Правильно судили былые люди:
Кто повинен в крови — тому ни слова
И ни взгляда, пусть уходит в изгнанье,
Чтоб очиститься, но в живых остаться.
Иначе никогда не избыть убийства,
И на руках убившего будет скверна.
Я ненавижу нечистых женщин,
И всех больше — мою дочь мужеубийцу,
Да и о Елене, твоей супруге,
Не скажу хорошего: непохвально
И что ты за изменницу шел на Трою.
Но я буду поборник закона,
Выкорчевывая кровожадное зверство,
Пагубное для земли и граждан.
Что ты чувствовал, злополучный,
Когда мать свои обнажила груди?
Я своими глазами не видел,
Но и то горит слеза на старческом веке!
Из речей моих одно истекает:
Ты богам ненавистен, ты за мать
Платишь страхом и безумством. Каких
Мне еще свидетелей, самовидцу?
А поэтому откажись, Менелай,
Помогать ему вперекор всевышним.
Дай народу побить его каменьем,
Или пусть не дойти тебе до Спарты!
Дочь моя претерпела по заслугам,
Но не этому казнить ее смертью!
Во всем я был удачлив,
Кроме дочерей: в них мое несчастье.
Х. — Счастлив тот, кто удачлив в детях
И кого миновали большие беды.
О. — Страшно мне, старец, тебе перечить,
Задевая душу за больное место.
Дай мне забыть о твоих сединах,
Которых вид лишает меня слова,
И я продолжу, а сейчас я колеблюсь.
Я нечестив, что убил мать,
И благочестив, что отмстил за отца.
Что мне было делать? Надо мной были двое:

Отец меня посеял, дочь твоя породила,
Как поле, от сеятеля принявшее семя:
Без отца не было бы и сына.
И я предпочел родоначальное семя
Той, которая его питала.
А дочь твоя (матерью назвать ее стыдно)
От нецеломудреннейшего брака
Взошла на чужое ложе. Дурно
Говорить о ней сыну, но все же — нужно!
Новый муж, Эгисф, укрывался в доме,
Я его зарезал и заклал твою дочь —
Пусть нечестиво, но в месть за отца!
Ты мне за это грозишь каменованьем?
Но выслушай: не на благо ли это Элладе?
Ведь если бы женщины в наглости дошли
До мужегубства, а после того
Находили прибежище у детей,
Открывая им груди, — любой предлог
Вел бы их к убийствам. Я сделал зло,
Говоришь ты, — да, но унял их нрав.
Я справедлив, убив свою мать,
Предавшую мужа, вождя страны,
За всю Элладу принявшего войну,
Ложе его запятнав грехом.
И зная за собою вину, она
Назначила казнь не себе, о нет,
А спасла себя и убила отца.
Ради богов (хоть богов и грех
Поминать при убийстве), — если бы я
Молча одобрил мать, то отец
В гневе не взвел бы на меня Эринний?
Или они стоят лишь за мать,
А не за того, кто хуже погиб?
Да не ты ли, старик, погубил меня,
Родив злодейку, чьей наглостью
Сиротой я стал и матереубийцею?
Сам посмотри: Одиссеева жена
Блюла свое ложе, не меняла мужей,
И ее не наказал Телемах.
Сам посмотри: над пупом земли
Воссев, Аполлон разверзает нам уста,
Мы покорны ясным его словам, —
И по слову его убил я мать.
Обвините его, казните его:
Это на нем вина, а не на мне.

Я слагаю вину на бога, и он
С меня снимет грех. У кого спастись,
Если не спасет отдавший приказ?
Не говори же, что я сделал дурно:
Говори, что дело вышло неладно.
Счастливы те, кому выпал на долю
Хороший брак, — а кому не выпал,
Тот несчастен и в доме и в граде.

Х. — Да, женщина часто помеха счастью
И часто бывает на горе мужу.

Т. — Дерзок ты и неуступчив,
Говоришь и язвишь меня словами,
Чтоб упорней я желал твоей смерти.
Будь же твоя смерть славной добавкой
К украшению дочериной могилы!
А я пойду в аргосское вече
И невольное или вольное взожгу желанье
Казнить каменованьем тебя с сестрою.
Сестра еще достойнее смерти,
Потому что озлобила тебя на матерь,
Нашептывая злые слухи
И про Агамемнона в сновиденьи,
И про брак Эгисфа, который будет
Ненавистен на том и на этом свете,
Непламенным пламенем дом спаливши.
А тебе, Менелай, слово мое и дело:
Если мы — родня, если гнев мой — правый,
То не перечь богам, не защищай убийства,
Дай каменьям граждан достичь до цели, —
Или не увидишь Спартанского царства.
Вот тебе совет мой во всякой дружбе:
Цени благочестье, отвергай нечестье.
Прислужники! ведите меня отсюда.

(*Уходит.*)

Орест, Менелай

О. — Ступай! Постылы твои седины.
Я без помех поговорю с Менелаем.
О чем ты задумался, Менелай,
Мыслями и шагами надвое кружа?

М. — Не говори: и думаю и не знаю,
Куда обратиться и где удача.

О. — Не торопись: сначала меня послушай,
А потом раздумывай о решенье.

М. — Говори: ты прав. Бывает молчанье
Сильнее речи, а речь — молчанья.
О. — Говорю. Длинная речь сильнее
Краткой, а ясная доступней слуху.
Твоего добра, Менелай, мне не нужно, —
Но что взял у отца, отдай обратно.
Не деньги — жизнь всего мне дороже;
Спаси мне жизнь — это лучше денег.
Я не прав? отплати мне за зло неправдой.
Разве правдою собрал Агамемнон
Всю Элладу к походу на Трою?
Но он шел на неправое дело
Не за свою обиду, а за Елену.
Настало время мере за меру.
Как друг для друга, тебе он отдал
Ту, что воистину была твоею,
Трудясь под щитом, чтоб отбить тебе супругу.
Ты получил ее — отплати же
Однодневным трудом, а не десятилетним:
Встань за нас и будь нам спаситель.
В Авлиде пала моя сестра —
Да будет так. Не убивай Гермиону!
Ты видишь меня, каково мне жить:
Помоги же, добейся мне прощенья!
Подари злополучному отцу
Жизнь мою и жизнь сестры —
Долгодевственной сироты в родимом доме.
Ты скажешь: невозможно. И я отвечу:
Друзья друзьям помогают в несчастьях.
Когда бог благосклонен, зачем друзья?
Довольно помощи и от бога.
Всеведомо, как ты любишь Елену, —
Так вот, без вкрадчивости и лести,
Молю тебя во имя ее! (Несчастный,
До чего дошел я, о чем стараюсь!)
Заклинаю тебя отцовским домом:
Ты ведь отцу — брат единородный,
И хотя его тело — под землею,
Но душа — меж нас, и вещает мною.
Из бедствий, из стенаний, из слез
Вновь и вновь взываю к тебе: спаси! —
Как взывали бы все, а не только я.
Х. — Я женщина, но и я умоляю:
Спаси несчастного, ты ведь в силах.

М. — Орест, голова твоя мне священна,
И я буду дольщиком твоих несчастий.
Если у человека сила от бога,
Долг его — помогать единокровным,
А врагов их казнить недоброй смертью.
Молю богов, чтобы дали силы,
Ибо под копьем моим нет копьеборцев:
Сотни сотен изведав бедствий,
Сохранил я лишь малый отряд подручных.
Нам не по силам Пеласгов Аргос —
Мы только и можем льстивыми речами
Добиться сбывчивости надежды.
Малыми трудами как успеть в великом?
Нельзя и думать.
Когда народ расцветает гневом,
Гасить его — как гасить пожар.
Если же к пылающему подойти спокойно,
Улучить время, дать ему роспуск, —
Тут-то он и выдохнется. А после
Без труда добьешься, чего угодно.
Есть в нем жалость и есть в нем пылкость —
Для выжидателя это благо.
Вот так и я, подойдя, попытаюсь
С пользой унять Тиндара и весь город.
Ведь и корабль, натянув канаты,
Тонет, а расслабив, выплывает.
Ни бог не любит чрезмерного пыла,
Ни граждане. А значит, нужно
Спастись умом, а не силой лучших.
Мне тебя не спасти оружьем —
Легкое копье мое не стяжает
Вражеских трофеев, тебя достойных.
Никогда не входил я в Аргос смиренно,
А теперь войду — велит неизбежность,
Пред которой даже мудрец не волен.

(*Уходит.*)

О. — О ничтожнейший в роде мститель,
Годный только воевать за супругу,
Ты бежишь, отвернувшись, забыв о брате.
Ах, отец, ты в доле своей — без друга,
Мы преданы, более нет надежды.
Я ухожу от аргосской казни:
Это единое мне спасенье.

Но вот я вижу: лучший из смертных,
Пилад бежит со стороны Фокиды
С весельем в лице: единственный верный,
Отрадный больше, чем затишье мореходу.

Орест, Пилад

П. — Быстрее быстрого спешу я из города:
Слышал я собрание, видел его воочию:
Все замышляют погибель на тебя и твою сестру.
Что теперь делать, как быть, скажи мне,
Лучший мой сверстник, друг и брат?
О. — Если тотчас мне не скажешь, в чем беда, — я погиб.
П. — Ты погиб — и я с тобою: у нас общая судьба.
О. — Менелай явился гнусен предо мною и сестрой.
П. — Так уж водится: у худших женщин — худшие мужья.
О. — Лучше б он тотчас уехал или вовсе не приезжал!
П. — Но точно ли он приехал, или это только слух?
О. — Долго плавал, но приехал, и вокруг него друзья.
П. — И привез с собою вместе худшую из всех супруг?
О. — Лучше уж сказать бы: не он ее, а она его.
П. — Где же та, что столько ахейцев погубила — одна?
О. — Она здесь, в моем доме, если только это мой дом.
П. — И какими же словами ты с Менелаем говорил?
О. — Я просил на растерзанье не отдавать меня с сестрой.
П. — Что же он тебе на это? Говори: хочу я знать!
О. — Осторожен и уклончив, как нехорошие друзья.
П. — И какими же предлогами прикрыл он свой обман?
О. — Тут как раз отец явился пресловутых дочерей.
П. — Узнаю Тиндара: гневен он на гибель дочери.
О. — И оказался Менелаю тесть дороже, чем брат.
П. — И твоим он злоключеньям не посмел положить конец?
О. — Он не воин, он отважен только между женщинами.
П. — Да, со всех сторон несчастья: остается умереть.
О. — Только граждане сначала проголосуют нашу смерть.
П. — Но о чем голосование? я пугаюсь: говори!
О. — Жизнь или смерть? — большое дело в двух коротких словах.
П. — Так беги же, так покинь же отчий дом и в нем сестру!
О. — Разве не видишь? встала стража вокруг нас со всех сторон...
П. — Да, я видел, что щиты перегородили улицы.
О. — ...Будто мы с тобой в осаде от незнаемых врагов.
П. — Обо мне спроси: я ведь тоже на пороге гибели.
О. — Отчего? твоею горестью умножаются мои!
П. — Гневный Строфий меня выгнал на все четыре стороны.

О. — Что причина? ваша ссора иль обида гражданам?
П. — Соубийство Клитемнестры — вот мое нечестие.
О. — Ах, несчастный! за мое дело, видно, и тебе страдать.
П. — Я снесу любое страданье: нравом я не Менелай.
О. — И не боишься, что аргосский суд казнит тебя со мной?
П. — Я не их суду подсуден, а фокидскому суду.
О. — Толпище всегда жестоко, ежели над ним злодей.
П. — А если над ним человек хороший, то и приговор хорош.
О. — Будь же так. Идем на вече!
П. — Я не вижу, для чего?
О. — Я скажу, представ народу...
П. — Что дело твое правое?
О. — Да, что мстил я за родного.
П. — Тут тебя они и возьмут.
О. — Что же, лучше, дрожа, погибнуть?
П. — Это не дело, ты не трус.
О. — Как же быть?
П. — Останься здесь, и будет тебе спасение.
О. — Нет!
П. — А разве, выйдя в город, ты надеешься спастись?
О. — Может быть.
П. — Тогда уж лучше выйдем, чем останемся.
О. — Так отправимся!
П. — И будет наша смерть достойнее.
О. — Мое дело правое!
П. — Дай бог им так решить.
О. — Ты прав: я покажу, что я не трус.
П. — На это и идем.
О. — Может быть, кто-нибудь пожалеет...
П. — Пожалеет знатный род.
О. — Пожалеют отца убитого...
П. — ...Воистину сраженного.
О. — Так идем же, так умрем же, стыдно медлить!
П. — Теперь хвалю.
О. — А сестре мы об этом скажем?
П. — Ни за что!
О. — В самом деле, будут слезы.
П. — А это — дурное знаменье.
О. — Стало быть, молчанье лучше.
П. — И выигрыш времени.
О. — Есть еще одно одоленье.
П. — Что еще ты назовешь?
О. — Жало злых богинь.
П. — Но разве не помощник я тебе?

О. — Тяжело с больным возиться.
П. — Только не мне и не с тобой.
О. — Берегись и ты безумья.
П. — Идем, пора!
О. — Не колеблешься?
П. — Кто колеблется, тот не друг.
О. — Так вперед, моя опора!
П. — Сладкая забота мне.
О. — Направляй к отцовской могиле.
П. — Зачем?
О. — Помолить его о подмоге.
П. — Ты прав.
О. — А могиле матери — ни взгляда.
П. — Да, она врагиня тебе.
Поспешим же, упреждая их аргосский приговор.
Прислонись к моему боку боком обессиленным,
И пройдем мы через город, невзирая на толпу,
Ибо нам стыдиться нечего. Такой ли я друг,
Чтобы в тяжком покинуть тебя несчастье?
О. — Поистине так. Нам мало родных — цените друзей.
Пусть муж нам чужой — но если душой он с нами един,
То этот друг дороже для нас, чем тысячи кровных родичей.

(*Уходят.*)

Хор

— Доблесть и богатство, с.
Славное по Элладе
До самых струй Симоента, —
Пали Атриды из блаженства,
Как древле от родового проклятья —
Когда встала в Танталидах вражда
Золотого ради овна,
И жесток был пир,
И убийство царственных отпрысков.
С той поры смерть за смерть
Кровью воздают Атриды Атридам.

Честь не в честь *а.*
Железною рукою рассечь
Материнское тело и черный
Меч явить сиянию солнца.
Где злодейство, там нечестие, там
Людское зломышленное безумье.

В смертном страхе
Скорбная кричит Тиндарида:
«Нечестива дерзость
Сына-матереубийцы —
Отчую почитая благость,
Вековечное снискиваешь бесславье».

Какой недуг, какая слеза, какая э.
Жалость превыше в мире,
Чем рукопролитие материнской
Крови? Преступник чести,
Охмелен безумием,
Травлен Эринниями,
Дико вращает взглядом:
Это ли дитя Агамемнона?
О несчастный,
Из златотканных пелен
Материнскую увидевший грудь,
Но пронзивший мать
В отплату за муки отца!

Электра, вестник

Э. — Молвите, женщины: не в порыве ль
Безумья Орест ушел из дома?
Х. — Нет: пошел он на аргосское вече,
Где спор о жизни:
Жить вам или умереть вам.
Э. — Ах, злополучный! С чьего совета?
Х. — Пиладова. Но взгляни: поспешает
Вестник с вестью о твоем брате.
В. — Несчастное, достослезное чадо
Агамемнона, чтимая Электра,
Недобрые приношу я тебе вести.
Э. — Горе! Смерть мне! Молви
Дурные вести, с которыми пришел ты.
В. — Пеласги порешили, что Орест, брат твой,
И ты, красавица, умрете сегодня.
Э. — Горе! Исполнились ожиданья,
От которых я исходила плачем.
Но какой был спор, какие были речи
Нам в приговор на смертную участь?
Скажи, старик, что отнимет душу
У меня и у несчастного брата?
Камни в руках или острое железо?

В. — Шел я из села к городским воротам,
Хотел узнать о тебе и брате,
Потому что смолоду благодарен
Агамемнону, выросши в вашем доме,
И хоть беден, но дружбы не забываю.
Гляжу, народ стекается к всхолмью,
Где когда-то Данай правил суд с Египтом,
И все места занимает толпою.
Видя это, спрашиваю кого-то:
«Что нового в Аргосе? Не враги ли
Всполошили вызовом Данаев город?»
А он: «Не видишь разве Ореста?
Бороться ему не на жизнь, а на смерть».
И тут я вижу (а лучше бы не видеть!):
Орест и Пилад шагают рядом,
Один понурый, изможденный болезнью,
Другой по-братски сострадающий другу,
Добрым уходом помощный в хвори.
Когда собрание стало полным,
Встал глашатай: «Кто хочет слова,
Казнить или нет матереубийцу Ореста?»
Тут встал Талфибий,
С твоим отцом ходивший на Трою.
Он, привыкший водиться с вождями,
Надвое говорил: Агамемнона славил,
Но Ореста не хвалил, искусно вплетая
Дурные слова про новый обычай
Управы с отцами и матерями, —
А сам посматривал на друзей Эгисфа.
Таков уж род их: всякий глашатай
Льнет к сильнейшим: для них любезны
Лучшие люди в городе и державе.
За ним говорил Диомед владыка —
Ни тебе, ни сестре не желал он смерти,
А желал угодного богам изгнанья.
Иные всплескали хорошей речи,
Иные молчали.
Тогда встает
Лихой наглец с крутым языком,
То ли аргосец, то ли не аргосец,
Вольною речью крикливый и грубый,
Отменный убедитель на все дурное,
Сладкий речью, коварный мыслью,
Толпе приятный, а городу вредный.

Лишь те, кто добрые дают советы,
Хоть не сразу, а в пользу бывают людям:
Из таких и нужно искать вождей,
Потому что один и тот же почет —
Облеченному властью и гласящему речь.
А этот встал и призвал каменьем
Казнить тебя и твоего брата,
А Тиндар ему подсказывал речи.
Но тут словам его встает противник —
Муж, лицом неприглядный, но крепкий,
Редко заглядывающий в город и на площадь,
Сам себе труженик, опора града.
Непорочный, незапятнанный в жизни, —
Когда захочет, он искусен и в слове.
Он сказал: Агамемнонова Ореста
Должно венком увенчать за то, что
Он отмстил за отца и убил злодейку.
Если бы не он, то к чему походы,
Когда за спиною пустые домы,
А те, кто блюдет их, впадает в слабость
И вводит жен в прелюбодеянье?
Хорошим людям понравились его речи,
Но никто ни слова.
Тогда Орест
Начинает: «Владетели Инахийской
Земли, потомки Пеласга и Даная,
Ведь я за вас, а не только за отца
Казнил свою мать. Если мужеубийство
Станет дозволено для жен, то все вы
Будете жертвами жен или рабами:
Сделайте должное, поступите иначе!
Я убил изменницу отчего ложа —
Если теперь вы меня убьете,
То конец закону, и каждый под угрозой,
Потому что наглость — не редкость в женах».
Хорошо он говорил, но с толпой не сладил:
Одолел другой, худой увещеватель,
Стоявший за казнь тебе и брату.
С трудом Орест избежал каменованья,
Обещав своею рукой зарезать
И себя и тебя до заката солнца.
Сейчас Пилад ведет его из собранья,
Сам в слезах, и спутники плачут
От великой жалости, потому что

Видеть это — горшего горько.
Готовь же меч или петлю на горло,
Чтобы больше не видеть света:
Ни знатный род тебе не подмога,
Ни Феб-губитель с треножника в Дельфах.

(*Уходит.*)

Х. — Бедная девушка, ты накрыла
Голову, склонившись к земле, безмолвна,
Но сейчас изольешься в стоны и крики.

Электра, хор

Э. — Завожу плач с.
О тебе, земля пеласгийская,
Белыми ногтями впиваясь в щеки,
кровавую долю,
В голову бью руками
В угоду подземельной богине, —
Стенают и киклоповы стены,
Режет волосы острое железо —
горе в доме!
Жалости, жалости
По вам, упокоенным
Прежним вождям Эллады!

Минули, сгинули а.
Отпрыски рода Пелопова,
Счастьем завидного бессмертным.
Божья зависть
Рухнула на тебя кровавым жребьем!
Многослезные, однодневные,
Трудоносные, слушайте, народы,
Как нежданно ударяет судьба.
В долгом беге
Горе сменяет горе, —
И ничто для смертной стопы не прочно.

Взмыть бы мне в небо, э.
Где меж твердью и сушею
Золотыми цепями
Кружась, поникла
Олимпийская глыба
Над седым прародителем Танталом, —

Чтобы вкрикнуть ему стонущий крик
О горьком доме,
Познавшем ужас
С той поры, как с той четверни
В летучем беге
От Пелоповой длани
Гибель нашел Миртил
В вздутом море,
Белыми гребнями
Бьющемся о Герест,
Где бежал колесничный путь.
Тогда-то над нашим домом
Многослезное разверзлось проклятье —
В отаре Майина сына
Златорунного рождение агнца:
Грозное знамение, грозное
Атрею, питателю коней!
Отсель крылатый Раздор
Сбил Солнце с его пути,
Западный небоскат
К одноконной склонил Заре,
И тогда-то в людях
встала за смертью смерть,
И грянул Фиестов пир,
И критское ложе Аэропы
С обманчивой узнало обман,
А последним валом
Рухнул рок на отца и на меня!

Х. — Но вот бредет твой природный брат,
И смерть ему приговор,
А с ним — Пилад, который верней
Родного брата, конем пристяжным
Направляет неверные ноги.

Электра, Орест, Пилад

Э. — Горе мне! Вижу тебя и плач,
Брат мой, перед могилой, брат мой, перед костром!
Горе мне дважды! В последний раз
Вижу тебя и схожу с ума!
О. — Женские удержи стоны,
Смирись с решеньем. Сколь ни плачевно,
Но мы должны сносить нашу участь.

Э. — Как молчать, если божьего света
Больше нам не дано увидеть!
О. — Не добивай меня. Довольно бедствий:
Я уже погиб от рук аргосских.
Э. — Ах, горькая твоя юность, ранняя
Твоя участь! Жить бы тебе, да некогда!
О. — Не лишай, сестра, меня мужества,
Выплакивая память о бедствиях.
Э. — Это смерть, а о смерти нельзя не плакать:
Всякому живому жалко жизни.
О. — День назначен: свей себе петлю
Или нож отточи для казни.
Э. — Братец, убей меня сам! Не дай
Аргивянам глумиться над нашим родом.
О. — Мать я убил, а тебя не смею:
От своей руки умирай, как знаешь.
Э. — Да будет так. Твой меч мне послужит.
Только дай обнять тебя напоследок.
О. — Праздная отрада идущему на гибель
Обвивать шею белыми руками.
Э. — Братец милый, братец желанный,
Я сестра твоя, и во мне душа твоя.
О. — Ты мне грудь растопила. Вот тебе
Братняя рука. Чего мне стыдиться?
О сестрино сердце, о милые объятья!
Вместо детей и брачного ложа
Нам, несчастным — лишь нежное слово.
Э. — О!
Если бы пронзил нас единый меч!
Если бы легли мы в один кедровый гроб!
О. — Да, сладкая мечта. Но друзья, ты видишь,
Покинули нас для общей гробницы,
И не замолвил за тебя ни слова
Злодей Менелай, отца моего предатель.
Он взгляда не показал: о нас ли
Думать ему, в мечте о царском скиптре?
Но в нас живет благородный Агамемнон.
Мы сделаем, как он, и умрем достойно.
Я докажу свое благородство,
Пронзив себе печень; а ты за мною
Сделаешь то же, что и я сделал.
А ты, Пилад, распорядитель смерти,
Сложи достойно оба тела
И похорони у отчей гробницы.
Теперь прощай: пора и за дело.

П. — Остановись! впервые тебе пеняю:
Ты умрешь, так ужели я жив останусь?
О. — Но зачем тебе умирать со мною?
П. — Спроси, а жить мне зачем без друга?
О. — Ты не я, не матереубийца.
П. — Но я твой друг, и един судьбою.
О. — Живи для отца, не умирай со мною:
У тебя есть родина, у меня нету.
Есть отчий дом, богатая пристань;
Я по дружбе помолвил тебя с сестрою,
И обманул ее злополучьем, —
Но ты возьмешь другую, и будут дети,
А нам, как видно, не породниться.
Прости! Ты был мне лучшим из сверстных.
Радуйся! Это тебе на долю;
А у мертвых радостей не бывает.
П. — Как ты далек от моих желаний!
Пусть плодная земля и яркое небо
Не примут кровь мою, если только
Я тебя предам и останусь в жизни!
Я с тобою вершил убийство,
Я — советник, а ты — казнящий,
Я достоин казни с тобой и с нею.
Ты помолвил нас, я в Электре
Чту супругу. Что я отвечу,
Воротясь к себе в фокидские Дельфы?
Скажу ли, что был я вам другом в счастье,
А когда приспела невзгода — бросил?
Нет: у нас обоих одна забота.
Но если нам умирать обоим,
То зачем бы не погибнуть и Менелаю?
О. — Ах, увидеть бы его мне мертвым!
П. — Тогда послушай, а меча не трогай.
О. — Не трону, лишь бы добиться мести.
П. — Тише: этим женщинам я не верю.
О. — Не тревожься: они заедино с нами.
П. — Убьем Елену на горе Менелаю!
О. — Как? я готов, была бы возможность.
П. — Зарежем: она ведь у тебя в доме.
О. — Так; но она за семью замками.
П. — Ненадолго: ждет ее брак загробный.
О. — Но как? при ней варвары на страже.
П. — Фригийские варвары не опасны.
О. — Да: их дело — зеркала и притиранья.

П. — Она не забыла троянскую роскошь?
О. — В эллинском доме теперь ей тесно.
П. — Рабский род не сравнить с нерабским.
О. — Ради такого умру хоть дважды!
П. — Я тоже, лишь бы отомстить за Ореста!
О. — Так объясни же, как это сделать?
П. — Мы входим в дом, как будто на гибель.
О. — Это я понял. Но что же дальше?
П. — В плаче изливаем ей наше горе.
О. — Пусть прослезится, в душе ликуя.
П. — Точно так же, как мы пред нею.
О. — Но как же мы поведем борьбу?
П. — Мы под одеждой скроем мечи.
О. — Прислужники будут борьбе помехой.
П. — Мы разгоним их по дому, куда попало.
О. — А кто не смолчит, того и прикончим.
П. — Что дальше — увидится само собою.
О. — Дальше — догадываюсь, — смерть Елены?
П. — Именно. Выслушай, что я придумал.
Если бы мы обнажали меч
На честную женщину, это было б
Позором. Но нынче ее расплата
За всех отцов и сынов Эллады,
За всех сирот и жен овдовелых!
Будут огни на алтарях и клики,
Тебе и мне вещающие счастье,
За то, что мы казнили злодейку.
Больше не будешь матереубийцей:
Вместо старого новое примешь имя:
«Убийца Елены, убившей многих».
Нет, не быть Менелаеву счастью —
После брата, после тебя с сестрою
И той, о которой лучше не помнить, —
Чтоб он сел в твоем доме со своей Еленой,
Которую добыл ему Агамемнон.
Пусть мне не жить, но при мне мой меч!
Если мы не убьем Елены —
Подожжем дворец, чтобы всем погибнуть!
Славная смерть или славное спасенье,
Но слава подвига будет наша.
Х. — Дочь Тиндара позорила женщин
И ненавистна женскому полу.
О. — Ах,
Ничто не лучше, чем истинный друг,

Ни власть, ни деньги; и тот безумен,
Кто на толпу променяет человека.
Ты измыслил, как убить Эгисфа,
Ты не покинул меня в несчастье,
И сейчас ты рядом, и сейчас ты знаешь,
Как мстить врагам. Но я замолкаю:
Многая похвала бывает в тяжесть.
Я и при последнем моем дыханье
Моим убийцам желаю смерти,
Чтоб была измена красна изменой,
Чтоб заплакали те, от кого я плачу.
Я сын Агамемнона, того, который
Не царем, а избранником был Эллады,
Силой равным богу. Его я имя
Рабской смертью не опозорю,
И умру добровольно, отомстив Менелаю.
Одного не хватает счастью:
Убить и в живых остаться —
Об этом последнее моленье:
Желанные слова окрыленно
Вылетают из уст, лаская душу.
Э. — Мне кажется, я нашла, как спастись
И тебе, и Пиладу, и с вами — мне.
О. — Это — воля божья. Скажи:
Я знаю, ум у тебя остер.
Э. — Слушай, Орест, и слушай, Пилад!
О. — Слушаем. Хорошего и ждать хорошо.
Э. — Вы знаете: есть у Елены дочь.
О. — Да, Гермиона, и вскормлена у нас.
Э. — Она пошла к Клитемнестриной могиле.
О. — Зачем пошла? И какое нам дело?
Э. — Вместо матери жертву принесть на гроб.
О. — Какое же в том спасенье для нас?
Э. — Пойдет назад — возьмем ее в плен.
О. — И чем это выручит нас троих?
Э. — Менелай захочет мстить за Елену
И тебе и мне из-за нашей дружбы,
А ты скажешь, что убьешь Гермиону,
И приставишь меч к девичьему горлу, —
И если Менелай над кровавым телом
Елены даст тебе жизнь за дочь,
Ты Гермиону отдашь отцу;
Если же он не совладает с гневом,
Прежде, чем он тебя, ты ее зарежешь.

Но мнится: как он ни разъярится, —
Скоро остынет. Он слаб душою
И робок сердцем. Наш путь к спасенью —
В этом. Теперь я все сказала.
О. — Душа у тебя мужская,
А тело женски прекрасно.
Ты достойна жизни, а не смерти.
Если мы останемся живы —
Ты блажен, Пилад, такою женою.
П. — Если мы останемся живы,
Я с почестью ввел бы ее в Фокиду.
О. — Когда же вернется Гермиона?
Ты открыла нам добрую надежду,
Лишь бы взять детеныша злого зверя.
Э. — Она уж близко,
И чем дольше, тем она ближе.
О. — Хорошо. Останься же перед домом
Перенять в пути Гермиону:
Сторожи, и ежели раньше срока
Явится отец или кто из близких
К этому дому, — крикни,
Стукни в двери, подай нам голос.
А мы войдем для последнего боя,
Мечи в руках,
С тобой, Пилад, товарищ трудов!
Отец мой! в черных твоих чертогах
Услышь сына твоего Ореста
И приди на помощь: за тебя я стражду,
Неправо гонимый твоим же братом
За правое дело. Его супругу
Хочу я казнить: пребудь же со мною.
Э. — Отец, приди, если слышишь нас за гробом:
Здесь за тебя погибают твои дети.
П. — Агамемнон, и я ведь тебе сородич:
Склони же слух и спаси детей.
О. — Я убил мать.
П. — Я подал меч.
Э. — Я отогнала колебания.
О. — Я встал за тебя.
Э. — Я не предала тебя.
П. — Услышь укоры, обереги рожденных.
О. — Ты видишь, я плачу.
Э. — Ты слышишь, я стенаю.
П. — Довольно: к делу!
Если стрелы молний пронзают землю —

Он нас услышал. О Зевс, о Правда,
Будьте в помощь ему, и мне, и ей:
Троим товарищам в единой борьбе,
Где всем спастись или всем погибнуть.

(*Уходит с Орестом.*)

Электра, хор, голос Елены

Э. — Милые микенянки, с.
Первые в пеласгическом Аргосе!
Х. — Что, владычица?
Так меж нами в данайском городе
Ты доселе прозываешься.
Э. — Встаньте одни на проезжую дорогу,
Встаньте другие охранять хоромы.
Х. — От кого же охранять,
Молви, дочка?
Э. — Страшно мне:
В доме смертная льется кровь:
Не умножил бы кто беду бедою.
Х. — Идем, спешим,
Я встаю на восточную дорогу.
— Я встаю на ту, что к закату.
Э. — Зеницы глаз
Обращайте в сторону и в сторону.
Х. — Повинуемся.

Э. — Сквозь кудри нависшие, *а.*
Сквозь ресницы водите взглядами.
Х. — Кто-то видится,
Вокруг дома твоего мне мерещится:
Селянин кружит.
Э. — Мы погибли, подруги! Донесет он
Об оружной нашей тайной засаде.
Х. — Ложная была весть, дочка:
Пуста дорога.
Э. — Точно ли?
Добрая ли твоя весть?
Впрямь ли никого перед домом?
Х. — Никого здесь нет:
Пусть в другую сторону посмотрят.
— Никого здесь не видно из данайцев.
Э. — К воротам слух:
Почему так тихо в доме? где жертва
Кровавая?

Не слышат. Горе мне, горе! э.
Красота ли им мечи притупила?
Не ворвется ли оружный аргосец
В палаты помощною стопою?
Смотрите же, смотрите без отдыха:
Вправо, влево кружите взорами!
Х. — Друг за другом мы смотрим на дорогу.
Е. — О Аргос, о пеласги, я гибну!
Э. — Вы слышали? Мечи занесены.
Вы узнали? Это крики Елены.
Х. — О присносильный Зевс, Зевс,
Будь на деле друзьям моим подмогою!
Е. — О Менелай, умираю: где ты?
Э. — Бейте, режьте, разите, губите!
Два двуострых меча вонзайте
Твердыми руками
В нее, в нее, безотчую, безмужнюю,
В нее, губившую
Эллинов, эллинов, копьями, копьями,
Где слезы, слезы
Текли по железу
В битве над крутнями Скамандра!

Электра, Гермиона

Х. — Но тише, тише! Слышатся шаги
По дороге, вьющейся к нашему дому.
Э. — Милые женщины, тише, тише:
Это к убийству подходит Гермиона,
Входит прямо в раскинутые сети:
Если добыть ее — славная добыча.
Станьте покойно, укротите взоры,
Пусть румянец ничего не выдаст.
Я тоже потуплю скорбные очи,
Как будто не знаю о том, что сталось.
— Девушка, ты почтила Клитемнестру
И венками, и надгробным возлияньем?
Г. — Да, ублажила. Но я в испуге:
Хоть я и была далеко от дома,
Мне послышался крик из царского чертога.
Э. — Как же не плакать по нашей доле?
Г. — Ты утешно молвишь; но что случилось?
Э. — Орест и я осуждены к смерти.
Г. — Да не будет так! Вы — мои родные.

Э. — Издан указ, и мы — под игом.
Г. — Оттого-то и шум под этим кровом?
Э. — Это он просителем припал к Елене.
Г. — Кто? Не знаю, пока не скажешь.
Э. — Бедный Орест за нас за обоих.
Г. — Был его крик за праведное дело.
Э. — За что же еще и рваться в крике?
Но войди ж и ты, соучаствуй в просьбе,
Пади заступно пред матерью своею,
Да не узрит Менелай нас мертвых.
Моя мать вскормила тебя на лоне —
Пожалей же, вызволи из невзгоды,
Вступись за нас, последуй за мною,
Ты — последняя наша надежда.
Г. — Смотри: я вхожу в палаты.
Чем сильна, тем и буду в помощь.
Э. — Эй, вы, в дому, держите добычу!
Г. — Боги! кто это?
О. — Молчи: ни слова!
Не себе, а нам ты несешь спасенье.
Э. — Держите: держите! меч ей к горлу!
Пусть Менелай хорошо запомнит,
Что здесь — бойцы, а не рабы-фригийцы,
И примет кару, достойную слабых.

Х. — Эй, эй, подымайте шум, шум с.
Перед домом, пока борьба
Видом крови не устрашит аргивян!
Пусть не сбегаются на помощь
Прежде, чем Еленин труп
Не увижу я в крови
Или не услышу из уст надежных:
Ведь иное дело знать, иное верить.
Правое сбылось
Мщение богов над Еленою:
Ибо слезы лила Эллада,
Когда с многопагубным Парисом
Увлекла она эллинов под Трою.

Электра, хор, Фригиец

Х. — Но тише: гремят во дворце засовы,
Это выходит кто-то из фригийцев:
От него узнаем, что было в доме.

Ф. — Я бежал от клинка аргивского,
По стропилам войлочными подошвами
Меж точеных прокрадываясь выбоин,
Только бы прочь, прочь, прочь!
Но куда убежать мне, варвару?
Горе мне, чужеземки!
В светлом ли эфире,
В море ли, тесно схваченном
Океаном о бычьем черепе,
Отыщу я землю?
Х. — Фригиец, раб Елены, что случилось?
Ф. — О, Илион, Илион,
Город над плодной Фригией,
Кручи священной Иды,
Плачу над вами
Азиатским напевом
О ней, лебединородной
Дочери Леды,
Злопрекрасной Елене, —
Ах! — Эриннии
Пергамских Фебовых стен,
И о нем, наложнике Зевса,
Ганимеде,
Конная Дардания, плачь, плачь!
Х. — Нескладное твердишь: скажи яснее!
Ф. — Айлинон, айлинон! древний зачин
Варварских песен
Над царскою кровью, о! о!
Железным мечом пролитой
В сени аида!
Поведу рассказ чередом:
Два эллинских львенка явились в дом —
Первый — сын полководного отца,
Второй — сын Строфия, молчун и хитрец,
Новый Одиссей,
Верный друзьям, лютый к врагам,
Свычный в битвах, как ярый змей,
Тихий злоумышленник, сгинь, злодей!
Входят к трону, на троне она,
Лучника Париса браная жена,
У обоих на глазах — слезы.
Сели смиренно,
Слева один, справа другой,
Оба друг другу в помощь.

Обняли, обняли колени Елене
Оба;
Встали мы, встали мы в тревоге кругом,
Мы, фригийцы,
И переговариваемся, нет ли тут
Хитрых ков.
Один говорит, что нет, другой —
Что облег ее, оплел ее со всех сторон
Змий-матереубийца.
Х. — А ты где был? или в страхе стыл?
Ф. — Фригии, Фригии помня устав,
Веял я, веял я вокруг кудрей
И ланит Елены, Елены
Кольчатым опахалом —
Так у нас водится, —
А руки ее перстами
Скрученную ввивали
Нить на веретено
Из падавшей наземь пряжи:
Это она из фригийских добыч
Соткать хотела льняную ткань,
Багрец на гроб Клитемнестры.
И так Орест сказал тогда лаконянке:
«Зевсова дочь, встань,
Ступай за мною к Пелопову очагу,
Седалищу древних предков,
Чтоб выслушать мои речи».
Он повел ее, он повел ее, и она за ним,
И ни слова, зачем.
А клеврет его, злой фокидянин,
Разгонял нас прочь:
«Не толпитесь, зловредные фригийцы!»
И кого в конюшню, кого в горницу, кого куда, —
Разогнал нас прочь от царицы.
Х. — И что же за несчастие приспело?
Ф. — Матерь, матерь Идейская,
Матерь, могучая, могучая,
Смертные страсти, безбожные напасти
Видел я, видел я в царственных палатах.
Из складок пурпура
Мечи повыхватив,
Кинув взгляд,
Не видит ли кто, —
Как горные вепри,

Встали на царицу:
«Умрешь, умрешь,
Нечестивый погубил тебя муж,
Выдав на смерть братнина сына!»
Ах, и как она плакала, плакала,
Била белой рукою в грудь,
Била тяжким ударом в лоб —
Ускользала, золотообутая;
Но Орест в сапоге микенском,
Ей вхватившись в светлые кудри,
Ей нагнувши голову влево,
Черный меч уже метил в горло...
Х. — А вы, фригийцы, к ней не поспешили?
Ф. — С криком выбив косяки и двери,
Сбив засовы, кто откуда,
Все на помощь со всего дома,
Этот с камнем, этот с дротом,
А иной и с мечом —
но нам навстречу
Пилад непреклонный, словно, словно
Гектор фригиец и Аянт трехшлемный,
Каким он рвался в Приамовы ворота.
Сшиблись мечи в мечи,
Ярко бились, пока Арес
Не унизил нас эллинскими копьями.
И тогда-то кто мертв, кто в бег,
Кто ранен, кто молит о пощаде —
Спастись от смерти —
Разбежались мы в темные прибежища:
Кто шатался, кто падал, кто лежал.
Тут вошла Гермиона в дом
К телу матери на земле,
И увидела себя сиротою.
А те,
Как вакханки в пляске без тирсов,
Рвать хотели тело, как львицу гор —
Вновь Зевсову дочь на растерзание.
А Елены в тереме нет,
В доме не видно —
Зевс! твердь! свет! ночь! —
Зельями ли, волхвованьями ли —
Нет Елены.
Что дальше, не знаю:
Я прочь прокрался из дома.

Тщетно, тщетно
Многих премногий труд
Вытерпел Менелай под Троею
За жену Елену.

Орест, Фригиец

Х. — Но я вижу новое новому вслед:
Неверными шагами, с мечом в руке,
Орест из дворца выходит.
О. — Где тот раб, который из дома бежал от моего меча?
Ф. — Я простерт перед тобою ниц, как все мы, варвары.
О. — Ты не в варварском Илионе, здесь Аргосская земля.
Ф. — Но и там и тут разумному лучше жить, чем умереть.
О. — А не ты ли Менелая звал на помощь во дворец?
Ф. — Всех я звал тебе лишь в помощь: ты ведь был почти один.
О. — Полагаешь, Тиндарида умерла заслуженно?
Ф. — Будь три шеи у злодейки — все их перерезал бы.
О. — Это ты лишь мне в угоду говоришь из трусости.
Ф. — Две страны она сгубила и по праву казнена.
О. — Поклянись под страхом смерти, что не льстишь в угоду мне!
Ф. — Всей душой тебе клянуся, что я чист перед тобой!
О. — Так ли эллинский меч под Троей повергал фригийцев в страх?
Ф. — Убери свой меч подальше: слишком страшно он блестит.
О. — Перед ним, как пред Горгоной, ты боишься камнем стать?
Ф. — Про Горгону знать не знаю, только страшно умереть.
О. — Ты ведь раб, ты должен в смерти ждать освобождения!
Ф. — Будь ты раб или свободный, сладко видеть солнца свет.
О. — Славно сказано. Ты спасся! Уходи к себе домой.
Ф. — Не казнишь меня?
О. — Прощаю.
Ф. — Превосходно сказано!
О. — Впрочем, нет, я передумал.
Ф. — А вот это ни к чему.
О. — Ты глупец: твоею кровью я меча не оскверню.
Ты недаром не мужчина и не женщина меж нас.
Для чего ты этим криком меня вызвал из палат?
Право, шум такой заслышав, целый Аргос будет здесь.
Не боюсь я Менелая, не боюсь и его меча —
Пусть придет себе, как щеголь, кудри русые до плеч.
Если ж он захочет Аргос за собою привести,
Чтобы мстить за смерть Елены, никого не пощадив,
Ни меня, ни сестру, ни Пилада — всех троих поборников, —
То, клянусь, с Еленой рядом Гермиона ляжет здесь!

Х. — Увы, увы! Новая борьба, а.
Новый дом
Рушится над родом Атридов!
— Что же мы, что же нам? Кликнуть по городу?
Или молчать?
— Лучше молчать.
— Смотри: к чему бы
Подымается дым пред домом?
— Это факелы: жечь Танталов дом —
Нет конца убийствам.
— Смертным бог кладет конец
Там, где хочет класть конец.
Бог могуч: чрез демона-мстителя
Рушит домы в потоках крови
С той поры, как пал Миртил с колесницы.

Орест, Менелай

Х. — Но я вижу Менелая, поспешающего к нам.
Он торопится, как будто обо всем уже узнал.
Не задвинуть ли засовы? не закрыться ли в дому?
Страшно, если наступает человек удачливый
На того, кто злополучен, как несчастный наш Орест.
М. — Я пришел на страшные вести:
Два здесь льва, не два человека!
Я слышал странные слухи,
Что Елена не убита, а исчезла.
Эту вздорную сплетню
Кто-то мне сказал с перепугу,
А пустил ее матереубийца
Людям на смех. Отворите засовы!
Настежь двери! Дочь Гермиону
Вырву я из рук смертоносных
Вместе с телом жены моей несчастной,
А те, кто ее погубили,
От моей руки погибнут оба.
О. — Эй, подальше руки от запоров!
Тебе говорю, Менелай надменный!
А не то я на голову тебе сброшу
Зубец крыши, плотникову работу.
Двери на запорах —
Чтобы ты не вторгся своим на помощь.
М. — Что я вижу? Факелы сверкают,
Злодеи встали на крыше дома,
И меч приставлен к дочерину горлу.

О. — Хочешь спрашивать или хочешь слушать?
М. — Ни то, ни другое, но придется слушать.
О. — Так слушай: дочь твоя будет убита.
М. — Убив Елену, убьешь Гермиону?
О. — О если бы боги не отняли Елену!
М. — И не стыдно отпираться и насмехаться?
О. — Отпираюсь с досадой. Если б мог я...
М. — Что? Меня обымает ужас.
О. — Свергнуть в аид мучительницу Эллады!
М. — Отдай мне тело жены для погребенья!
О. — Проси богов. У меня лишь дочь.
М. — Зарезав мать, режешь без счета?
О. — Мщу за отца, преданного тобою.
М. — Мало тебе материнской крови?
О. — Казнить дурных — рука не устанет.
М. — И ты, Пилад, — пособник убийства?
О. — Молчанье — знак согласья, верь мне.
М. — Не радуйся, ты не улетишь отсюда.
О. — Не улечу, но спалю палаты.
М. — И тебе не жалко отчего дома?
О. — Чтобы тебе не отдать — не жалко.
М. — Что ж, убивай! расплаты не минуешь.
О. — Да будет так.
М. — Нет, оставь, не надо!
О. — Молчи, терпи, страдай по заслугам.
М. — А ты заслужил свою жизнь?
О. — И царство.
М. — Какое царство?
О. — Пеласгов Аргос.
М. — И омоешь руки?
О. — И омою руки.
М. — И заколешь жертву?
О. — Тебя не хуже.
М. — Я чист руками.
О. — И нечист душою.
М. — Кто тебе товарищ?
О. — Кто любит отца.
М. — А мать?
О. — Кто любит мать, тот счастлив.
М. — А ты не любишь.
О. — Не люблю недостойной.
М. — Убери свой меч!
О. — Напрасные речи.

М. — Ты убьешь мою дочь!
О. — А вот это правда.
М. — Что мне делать?
О. — Моли аргивян.
М. — О чем молить?
О. — Чтобы нас не казнили.
М. — Иначе убьешь мою дочь?
О. — Конечно.
М. — Бедная Елена!
О. — А я не бедный?
М. — Я вез тебе жертву из Фригии...
О. — Мне ли?
М. — Не жалел трудов...
О. — Из-за меня ли?
М. — Много вытерпел...
О. — По заслугам.
М. — Я в руках твоих...
О. — Так тебе и надо.
Пора, зажигай дворец, Электра!
А ты, Пилад, из друзей вернейший,
Поднеси факел к зубцам на крыше.
М. — О данайская конная земля,
О зиждители Аргоса, к нам, с оружьем!
Вашему городу грозит Орест,
Убивший мать свою, чтобы выжить.

Аполлон, Орест, Менелай

А. — Менелай, смири бушующий дух:
Так велю я, Феб Аполлон.
И ты, Орест, заносящий меч,
Сдержись и выслушай божью речь.
Ты хотел Елену убить
Назло Менелаю. Напрасный труд!
Ты видишь: в глубях светлых небес
Она жива и навек спасена —
По воле Зевса, нашего отца,
Я ее выхватил из-под меча.
Она — дочь Зевса, ей смерти нет:
В небесах, где Кастор и Полидевк,
Она воссядет спасать пловцов.
Тебе, Менелай, — другая жена,
А эту боги с ее красой
Послали зажечь меж смертными рознь,

Чтоб распря эллинов и троян
Сняла с земли дерзновенный груз.
Такова судьба Елены. А ты,
Орест, уйдешь из этой земли,
Пробудешь в Паррасии целый год,
И это место в память тебя
«Орестеем» жители назовут.
Оттуда в Афины проляжет путь,
Ты дашь ответ за материнскую смерть
Перед ликом трех Евменид.
Боги тебе на Аресовом холме
Окажут помощь: ты выйдешь прав.
А та, над которой ты держишь меч,
Гермиона — будет тебе женой.
О ней помышляет Неоптолем,
Но того не будет: дельфийский меч
Его сразит за Ахиллов грех.
Пилад помолвлен с твоей сестрой —
Жени их, и счастлив будет их брак.
Оресту Аргос отдай, Менелай,
А сам цари над спартанской землей,
Приданым жены, над которым ты
Столько несчетных приял трудов.
Я повелел ему убить мать —
И я восстрою Аргосский град.

О. — О вещий бог, нелживый в вещаньях,
Как я страшился, что это мстящий
Демон внушал мне твои веленья
Божьим голосом, — но все ко счастью!
Я повинуюсь твоему слову,
Из-под ножа отпускаю Гермиону
И у отца прошу ее в жены.

М. — О дочерь Зевса, радуйся, Елена,
Ныне воссевшая в божьем доме!
Тебе, Орест, по вещанью Феба
Вручаю дочь, и будь нам на счастье
Брак благородного с благородной.

А. — Ступайте каждый, куда повелено,
Забыв раздоры.

М. — Покорно слушаюсь.

О. — И я покорен твоим вещаниям,
О Феб, и дружеству Менелаеву.

А. — А ныне — в путь, чтоб вовеки чтить
Богиню Мира превыше всех.

А я Елену взнесу в чертог
Вышнего Зевса средь звездных искр:
Там, где Гера и где Геракл
С юной Гебой, воссядет она
Богиней людям, достойной жертв,
Спасающей плавателя в беде,
Как братья ее Диоскуры.
Х. — А ты, благая Победа, будь
Добра к певцу,
Венком венчав его кудри.

СОНЕТЫ

Переводя Донна, нужно было добиться двух мешающих друг другу целей. Во-первых, сонет — строгая форма, в напоминание об этом хотелось сохранить более ровную длину строк, единство окончаний, твердый ритм. Во-вторых, сонет Донна — это барокко, пафос диалектической связности, ради этого хотелось сохранить громоздкие сложносочиненные предложения, не рассыпая их в романтическую дробность. Когда эти тенденции сталкивались, вторая пересиливала, синтаксис сминал ритм. Заглавия сонетам даны условно, чтобы легче было следить, как Донн искусно перетасовывает три большие темы: внешнюю (смерть и Суд: 2, 4, 6, 7, 9, 10), внутреннюю (грех и покаяние: 1, 3, 5, 8), разрешающую (любовь и Христос: 11–16); последние сонеты, 17–19, добавлены к циклу позднее.

Джон Донн

СВЯЩЕННЫЕ СОНЕТЫ

1 *<Бог>*

Ты меня создал — Ты ли и сокрушишь?
Восставь меня, ибо близок мой конец:
Я к смерти мчусь, смерть мчится ко мне,
А все мои радости — как вчерашний день.

Страшно мне поднять помутившийся взгляд:
Отчаянье за спиной моей, а предо мною — смерть,
В них — ужас, и точит мою слабую плоть
Грех, и груз его — тяга в ад.

Ты один — в выси, и когда хватает сил
Взглянуть в Твою высь, я выпрямляюсь вновь;
Но пытает меня старый лукавый враг,
И ни часа не в силах я быть тем, чем есть.

Окрыли меня благодатью во спасенье от ков
И сталь сердца моего обрати в алмаз.

2 *<Плен>*

По всем статьям я отписан Тебе,
Ибо, Господи, сотворил меня Ты,
Сотворил для Себя, а когда я изгнил насквозь,
Ты кровью Своей откупил Свое же добро.

Я — сын Твой, и отблеск Твой — на мне;
Слуга Твой, которому плачено вперед;
Овца Твоя; образ Твой; и пока я — Твой,
Я — храм Твой, в котором Твой божественный дух.

Почему же на меня посягает враг?
Почему идет на кражу, идет на взлом?
О, встань, поборая за право Творца,
И да не отчаюсь я, вдруг узрев,

Что Ты любишь нас, но не выберешь меня,
А дьявол ненавидит, но не выпустит меня.

3 *<Жизнь>*

О, воротить бы мне в глаза и в грудь
Каждую траченую слезу и вздох,

Чтобы я в святой тревоге сменил
Праздную скорбь на плодную скорбь!

Идолам служа, сколько мук я окупил
Сердцем, сколько ливней излил из глаз!
Страдание было моим грехом,
И вот за страданье я страдаю вновь.

Жаждущий пропойца, неспящий вор,
Зудный блудодей, щекотливый гордец
Умягчают памятью былых отрад
Наставшее горе; и только мне

Вызволенья нет: безмерная боль —
И причина, и следствие, и грех, и казнь.

4 *<Душа>*

Душа моя черная! На тебя встает
Вестник и поборник смерти, недуг.
Ты — как странник, бежавший от вины
И которому нет обратного пути;

Ты — как вор, что рвется вон из тюрьмы,
Пока не прочитан последний приговор;
Но как названа смерть и назначен срок,
Он ищет защиты у тех же стен.

Покайся — и не минет тебя благодать;
Но без благодати — и каянья нет.
О, будь черна, но черна святой тоской
И красна стыдом, как была — грехом;

Или нет: омойся в Христовой крови,
И из красной купели выйдешь бела.

5 *<Мир>*

Я — малый мир; и во мне свились
Четыре стихии и ангельский дух;
Но черный грех и его и их
Предает на смерть в бесконечную ночь.

Вы, открывшие за высью небес
Новые сферы и новый простор,
Влейте мне в очи ваши новые моря,
Чтобы я потопом оплакал мой мир

Или потоком его омыл.
Но нет: его ждет не потоп, а пожар,
А он уже выжжен сквозь похоть и злость,
И стал лишь скверней. Отгони же их огни

И сожги меня, Господи, в ревнительном пылу
О Тебе и Твоем доме, — ибо жар сей целит.

6 *<Гранъ>*

Последний акт моей драмы; верста
Последняя страннichьего пути;
Тщетной скачки последний прыжок,
Последний вершок; минуты последний миг, —

И расторгнет во мне пожирающая смерть
Душу и плоть, и настанет дальний сон,
А бдящая часть моя узрит тот Лик,
Пред которым и днесь сотрясает меня страх.

И когда душа возлетит в родную высь,
А земная часть в земной воротится дом,
Будь каждому свое: вы, давящие грехи,
Исчадия ада, ниспадите в ад.

Чаю оправдания, избывши зло:
Ибо «нет» говорю я вам, — мир, плоть, бес.

7 *<Суд>*

По мнимым углам округлой Земли
Трубят ваши трубы, о ангелы, и встают
Из смерти несчетные тьмы и тьмы
Душ, облекаясь в прах своих тел.

Вы, кого пожар и кого потоп,
Голод, годы, горе, война, тиран,
Кого случай скосил и кого закон,
Вы узрите Господа, и смерти вам нет.

Но продли им, Боже, сон, и продли мне плач,
Ибо больше греха на мне, чем на них,
И поздно молить о благодати Твоей
В тот час неземной; научи же меня здесь

Покаянью; и будь на прощенье моем
Твоя, Господи, кровь, как красная печать.

8 *<Отец>*

Если праведные души во славе своей
Ангелам равны, то и мой Отец
Видит с небес и блаженствует вдвойне,
Как смело я шагаю над жерлом твоим, ад.

Но если даже им раскрывается наш дух
Лишь косвенными знаками, и видима в нас
Наружная явь, а не мгновенная суть, —
Белизну моей правды постигнут ли они?

Они видят: любовник о идоле своем
Источает слезы, богохульник зовет
Господа в свидетели, фарисей
Лицемерно набожничает. О, душа,

Обратись же ко Господу: лишь Ему твоя скорбь
Зрима, — ибо Сам Он вложил ее мне в грудь.

9 *<Грех>*

Ядовитый камень, древесный плод,
Нас, еще несмертных, бросающий в смерть,
Похотливый козел, завистливый змей —
Все бессудны пред Тобою, а я — судим?

Разум ли мой или воля моя
Делает неравным мой равный грех?
Милость легка, и ею славен Господь;
Почто же на мне Его грозный гнев?

Но кто я, кто, что дерзаю во спор,
Господи, с Тобою? Не Твоя ли кровь
И не слезы ли мои слились, чтобы смыть
Небесною Летою мой черный грех?

«Помни!» — как о долге, Тебе твердят;
А я, как о милости, молю: «Забудь!»

10 *<Смерть>*

Смерть, не гордись, что тебя зовут
Страшной и мощной: ты не такова.
Те, кого тщеславишься ты попрать,
Бессмертны, жалкая; и бессмертен — я.

Твои подобия, покой и сон,
Источают отрады, а ты — вдвойне;

Все лучшие наши спешат к тебе:
Ты — отдых плоти их и воля душе.

Над тобой — рок и случай, злодей и царь,
Дом твой — отрава, война, болезнь;
Но и мак и наговор усыпят нас верней,
Чем твой удар; так о чем же твоя спесь?

Ненадолго наш сон, а бдение — навек;
Там — не будет смерти: там — смерть тебе, Смерть.

11 *<Христос>*

Плюйте в лицо мое, пронзайте мне бок,
Избичуйте, осмейте, взгвоздите на крест, —
Ибо грех — на мне, грех — на мне, а Он,
Не умевший неправды, умер за меня.

Но и смерти мало для моей вины:
Нечестивее мой грех, чем жидовский грех:
Ими — бесславный единожды, а мной —
Воссиявший во славе повседневно казним.

Дайте надивиться мне чудной Его любви!
Царь лишь милует нас, а Он принял нашу казнь.
Так Иаков облекся в косматый мех, —
Но его в заемный облик влекла корысть;

А Господь облекся в бренную плоть,
Лишь чтоб слабостью подпасть под смертную боль.

12 *<Тварь>*

Почему нам, малым, служит всякая тварь?
Почему все стихии мне и жизнь и корм
Расточают вволю? Ведь они меня
И чище, и проще, и святей!

Зачем ты клонишься, незнающий конь?
Зачем так бессмысленно, кабан и бык,
Ваша мнимая слабость дается под удар
Тем, чья вся порода — на один ваш глоток?

Я слабей вас (горе мне!) и хуже вас —
Ибо вы не грешили, и страх вам чужд;
Но есть чудо чудеснее, чем то, что нам
Тварная природа покоряет тварь, —

Ибо сам безгрешный и бессмертный Творец
За нас, тварей, нас, врагов Своих, принял смерть.

13 *<Срок>*

А вдруг эта ночь — последняя в бытии?
О душа моя! В сердце, где твое жилье,
Выпечатлей образ распятого Христа
И скажи, ужасен ли этот Лик,

Чьи слезные очи источают дивный свет,
Чей лоб в струях крови от терновых ран:
Этот ли язык тебя аду обречет,
Моливший о прощеньи злобе лютых врагов?

Нет, как каждой подруге твердил я встарь,
Идолопоклонствуя земной любви:
«Красота — знак милосердия, мерзость — знак
Бессердечия», — так я ныне Тебе

Твержу: злые силы — и на вид темны,
А где светел Лик — там милостив Дух.

14 *<Борьба>*

Бей в мое сердце, трехликий Бог!
Этот взлом, вздох, свет, — он вольет мне сил
Восстать над собой и попрать себя,
Чтоб Твой горн, мех, млат вжег мне новую жизнь.

Я — как город, в котором враг,
Я рвусь впустить Тебя, но нет, не могу:
Разум, Твой наместник, был мне оплот;
Но он — в плену, он — неверен, он — слаб.

Я Тебя люблю, я хочу Твоей любви,
Но я отдан в обет Твоему врагу;
Разлучи нас, разорви, разруби нашу связь
И похить меня к Себе, в небесный острог,

Ибо в узах Твоих — свобода моя,
И моя чистота — под насилием Твоим.

15 *<Выкуп>*

Рвешься ль ты о Господе, как Он — о тебе?
Уясни тогда, душа моя, целебную мысль:
Бог-Дух, кого ангелы небесные поют,
Свой храм утвердил в твоей земной груди;

Бог-Отец, от кого рожден блаженный Сын
(И вечно рождается, ибо начала им нет),
Снизошел избрать тебя Себе в сыновья,
Сонаследником славе и субботе Своей;

И как обокраденный свое добро
Должен, сыскав, потерять или откупить,
Так Сын Его славы сошел на казнь
Вызволить нас, тварь Свою, из краж Сатаны.

Дивно, что был человек, как Бог;
Но пуще — что Бог стал, как человек.

16 *<Завет>*

Отче! долей прав на царствие Твое
Сын Твой делится с малым мной:
Он, совместник Троицы, тройного узла,
Дарит мне победу, поправшую смерть.

Агнец, чья смерть даровала миру жизнь,
Он, закалаемый от начала веков,
Двумя Заветами отписал свое
И Твое наследство Твоим сынам.

Но строг Твой устав, и не молкнет спор:
Посильны ли условия людским трудам?
Пусть и нет, — но кого буквой убил Закон,
Духом воскрешает целящая Благодать.

Твой краткий закон, твой последний завет
Есть рубеж любви; о, да властвует любовь!

17 *<Любовь>*

С тех пор, как та, кого я любил,
Роду и природе отдала последний долг,
И добро мое — в гробу, и душа ее — в раю,
Мой ум вперяется лишь в небесную высь.

Обожает он — ее, а рвется — к Тебе,
Господи, к Тебе, как к истоку струй;
И я Тебя нашел, и Ты меня напоил,
Но святая жажда меня плавит вновь и вновь.

Можно ли искать полнейшей любви?
Ты сосватал наши души, все приданое — Твое;

Но Ты боишься, что расточу
Я любовь мою вышним ангелам и святым;

И больше: Ты тревожно и нежно ревнив,
Что Тебя теснят из нас — мир, плоть, бес.

18 *<Церковь>*

Яви мне, Иисусе, невесту Свою
В свете и блеске! На чужом берегу
Не она ли красна? Не она ли в нищете
Страждет и стонет в Германии и здесь?

Спит тысячу лет и пробуждается в год?
Истинная — и блуждает? Новая — вдруг стара?
Прежде, ныне, после — явлена ли она
На холме? на семи? или вовсе не на холмах?
С нами она? или мы ее должны,

Рыцарски странствуя, доискаться для любви?
Добрый супруг, открой нам лик жены,
К горлице Твоей влюбленную мою душу взвей, —

К той, что тем вернее и милее Тебе,
Чем боле отдается в объятия всех.

19 *<Покаяние>*

Два несходства сходятся меня терзать:
В непостоянстве зачато постоянство мое.
Против естества и воле вопреки
Переменчива моя благость, переменчив обет.

Покаянье мое — как мирская моя любовь,
Забавно и забвенно в недолгий час:
В нем ни веса, ни меры; в нем холод и жар;
Мольба и немота; бесконечность и ничто.

Вчера я не взглядывал в небо; а теперь
Обхаживаю Господа в лести и мольбе;
А завтра трясусь пред Его жезлом.
Эти приступы веры — как прибой и отбой

Вздорной горячки; но знаю я одно:
Тем лучше мне день, чем больнее во мне страх.

ЭЛЕГИИ
1

Это переводы с русского на русский. Когда-то мне пришлось писать статью о композиции элегий пушкинского времени. Это оказалось очень трудно по неожиданной причине. Я перечитывал по многу раз давно знакомые стихи и ловил себя на том, что, дочитав до середины страницы, не могу вспомнить, о чем была речь в начале: стихи были так плавны и благозвучны, что убаюкивали сознание. Чтобы удержать их в уме, я стал, читая, пересказывать их про себя верлибром. Верлибр не заглушал, а подчеркивал содержание: можно стало запомнить последовательность тем и представить себе план лирического стихотворения. Когда через много лет я задумался о возможности конспективных переводов, я вспомнил это мысленное упражнение и попробовал сделать его письменно. Пусть это не покажется только литературным хулиганством. Во-первых, мне хотелось проверить: что остается от стихотворения, если вычесть из него то, что называется «музыкой»? Мы читаем мировую поэзию в переводах, о которых нас честно предупреждают, что передать музыку подлинника они бессильны; как относится то, что мы читаем, к тому, что было написано на самом деле? Вот так, как предлагаемые стихотворения к тем, которые мы читаем в собраниях сочинений русских романтиков. Во-вторых, мне хотелось дать себе отчет: что я сохраняю из подлинника XIX века, что мне кажется художественно живым и выразительным, а что вялым, многословным и надоевшим? Мы любим притворяться, что нам близко и дорого все, все, все, — а на самом деле? Нам говорят: переводы нужно делать так, чтобы они вызывали у нас те же художественные эмоции, какие оригинал вызывал у своих первых читателей. Я попробовал придать этому переложению такую степень формальной новизны, какую, по моему представлению, имели романтические элегии для первых читателей. Я получил картину своего художественного вкуса: как мало я вмещаю из того, что мне оставлено поэтами. Одну четвертую или шестую часть — как если я читаю на ма-

лознакомом языке без словаря. Картина эта мне показалась очень непривлекательной, и мне это было полезно. Было бы интересно сверить ее с картиной вкуса моих ближних и решить, что здесь от общего нашего времени, а что от моей личной душевной кривизны. При всех сделанных сокращениях я ничего не вносил от себя и пытался сохранить, не огрубляя, стиль подлинника — настолько, насколько я им владел. Это оммаж поэтам, которых я люблю, но без того панибратства, которое было у Эзры Паунда. Я даже старался почти в каждом переводе сохранить дословно строку или полторы из подлинника — чтобы легче было сравнивать. Заглавия этих стихотворений в подлинниках — «Мечта», «Вольное подражание св. Григорию Назианзину», «Вечер», «Любовь одна...», «Поверь, мой милый друг...», «Осень», «Гебеджинские развалины», «Гений», «К моему гению», «Уныние», «Уныние», «Элегия». Цифры на полях, как везде, показывают, сколько строчек получилось из скольких.

Где ты ищешь счастья, моя богиня?
Грозные скалы, шумные бури,
Задумчивые закаты,
Благоуханные рощи над воспетыми берегами.
Воротись, я жду
Ночью, в тишине, у лампады, горестный,
Уносясь мечтою
В дикий север, к туману и океану:
Скалы, лес, луна в облаках,
Пышущие костры,
Хриплым арфам внемлют воины над щитами,
Дух героя над тризной взлетает ввысь
В радужные раздолья храбрых.
Я там был, в тех каменных дебрях,
Ветер, град и дождь били в кровлю хижины, —
Ты спасала меня и там,
Как спасаешь гонимых, скудных, слабых:
Узник, цепи, каменный свод,
Пук соломы, кувшин, бледный свет в решетке,
Но он ясен и тверд:
Кто сердцем прав, того ты не покинешь.
Друг в могиле, но память смыкает души.
Милой нет, но сон ласкает сладострастьем,
И поэт мечтой побеждает смерть.
Тщетны мудрецы меж обломков жизни,
Им весна без радости и лето без цветов, —
Но весне и лету жизни спешит конец,
Отлетают сны и вянут цветы,
Тусклым светом дрожит светильник опытности,
И могила зияет черным ртом.
Пусть!
Слава — дым, и золото — прах,
Драгоценны сердцу — покой и воля,
И кому их осенила мечта —
Ночью, в хижине, у лампады, — счастлив.

Батюшков

ЖИЗНЬ

33/62

Целительно беседовать с душою.

Дремлет тишина,
Дышит весна,
Лес, журчанье ручья, цветы и птицы,
Догорающий пламень дня
Утоляют меня,
Но я медлю рассеять мое горе:
Печаль дорога душе.

Что я есмь? что я был? что я буду? — Не знаю:
Я лечу ниоткуда в никуда
В дымном облаке обманчивых чувств,
В лживом сне,
В безысходном круге.
Та волна, что била в лицо пловцу, —
За его спиною уже не та.
С кем я встретился и расстался на пути, —
В новой встрече мне будет, как чужой.
Как далек вчерашний день и вчерашний я!
Доживу ли я до ближнего утра,
И кем проснусь?

Я — как та волна:
Льюсь — стремлюсь — исчезну навсегда —
Навсегда ли?
Нынче — жив, завтра — прах, а после завтра?
Тайна скрыта,
Но душа трепещет надеждою —
От кого?
Кто облек тебя, душа моя, в мой труп?
Сбрось цепь,
Слей свой пламень с небесным пламенем,
И не станет тайн.

Страх исчез —
Смерклась ночь, но просветлело сердце.

Козлов

ДРУЖБА

39/92

Вечер,
Поля уже в тени,
В багряном блеске лес над зеркалом воды,
С золотых холмов стада бегут к реке,
К дому гребет рыбак,
По неровным бороздам отъезжает пахарь,
Меркнут облака, угасают струи,
В тростнике последний плещет ручей,
Дышат травы и колышутся листья,
Из дубравы всплакался соловей.
Встал полумесяц,
Искрами осыпался в волны,
Бледным блеском рассеялся по листве
Над моей печалью.

Отошла весна моих дней,
Иссякают струи юной радости,
Расточается дружный круг:
Песни и пиры, огнь души, клятвы братства.
Погибли призраки волшебных заблуждений:
Всяк своей тропой, со своей печалью,
И уже один отцвел, как минутный цвет,
И безвременный гроб его оплакан,
И уже другой — но ни слова...
Каждому свой путь,
Честь, и лесть, и улыбка света,
Но в памяти живут
Дружба, любовь и Музы:
Дерзнем ли мы друг другу чужды быть?

Мне брести неведомою стезей,
Мне любить тишину природы,
Сумрак рощ, плеск струй и дыханье Муз,
Чтобы петь Творца, друзей, любовь и счастье.
И когда за вечером встанет утро,
И туман в полях,
Голубые рощи под первым солнцем,
Пусть поэт до птиц,
Лиру согласив с свирелью пастухов,
Поет светила возрожденье, —
Но долго ль, и когда мой час?

Жуковский

ЛЮБОВЬ

12/56

В розах любви — счастье,
В терниях любви — песня:
Будьте блаженны, будьте бессмертны —
Я любуюсь вами, любовники и певцы.

Я любуюсь вами из сумрака,
Из седого шума дубрав и волн,
Из холодного сна души, —
Слишком много боли:
В мертвом сердце мертва и песня,
Слабый дар отлетает, как легкий дым.

А любовь —
Пусть поет ее любящий и любимый.

Пушкин

ОБОДРЕНИЕ

7/36

Несчастливцы — мы богаче счастливцев.
Счастье — лень, счастье — праздность, счастье — скука.
Лишь в ненастье волна узнает берег,
Где опора — друг,
И целенье, пусть краткое, — подруга.
Не равняйте нас: праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Баратынский

РАЗОЧАРОВАНИЕ

16/68

Яркою бороздою прорезать время,
Пожать золотые колосья бессмертья —
Нет мне славы на этой меже,
Порастет забвеньем моя могила.

Быть врагом тирану и братом жертве,
Пировать любовью и ласкаться дружбой —
Нет мне счастья на этой стезе,
Чашу отрад отравляют слезы.

Недозревши отцвели наслаждения,
Светлые сокровища расточились,
Грядущее с прошедшим разочлось,
Где бесчестен бой, там не радует победа.

В сумраке уныния гаснет юность,
Минули обманы, уснули раны,
Полдень крадется в тишине,
Труд мне благо, и Муза — моя надежда.

Вяземский

ОСЕНЬ

8/36

Рощи, ручьи, цветы, переклички птичьи —
        Где вы?
Ветер сквозь вечер, и зима приходит, как старость,
        Молча.
Я не печалюсь: утро взойдет, и весна откроет очи,
Вспыхнет цветок, блеснет мотылек, и душа взовьется
        В небо.
У Бога мертвых нет.

Гнедич

УНЫНИЕ

23/98

        Меркнет день,
        Молкнет шум,
        Низлетает сон,
Незримый журчит ручей,
Незримые веют цветы,
И тесно душе в мироздании.

        Лунный свет
Пал на кладбищенский дерн,
И под ним земля из нашего праха.

Церковь,
        Жилище немых молитв,
Роща,
        Одряхлевшая под шумящим холодом,
Волны,
        И над мутным бегом — ни утр, ни полдней.

        День на склоне,
        Год на склоне,
        Жизнь на склоне.

Молчание летит под маковым венком.
Грудь —
плачем облегченная, Дух —
скорбию ободренный, Смерть —
Мыслью укрощенная.

Милонов

РУИНЫ

31/209

Руины,
Каменные столбы,
Высящиеся над рухнувшими,
Как несжатые колосья над сжатыми,
Как раненые бойцы над мертвыми,
Заветы предпотопных племен,
Теменами подпиравших созвездия —

Эти кости, изглоданные временем.

Но меж павшими перевивается плющ,
Но на каменных туловищах зеленый плащ,
Но из раненых глыб цветут душистые
Поросли, и на месте колонн
Острый тополь устремляется ввысь,
И звенит соловей, и льются ящерицы.

Дайте мне свить венок из ваших листьев.

Выцвело вечернее золото,
В яхонтовой мгле небосклон,
И луна — как челн по эфиру.
Тени зыблются меж седых камней,
Словно мертвые веют над мертвым городом:
Где мечты их? Для всех — единый круг:
Вольность, слава, роскошь, порок, ничтожество.

Я изведал восторг, тоску, гонение:
Юный жар застыл, как черный металл.

Меркнет ночь,
Утро трепещет в листьях,
Стоном к свету вздохнули камни.
Просыпается спутник, бьет копытом конь:
В путь —
Все равно, куда:
Прах былого, прости мое пристанище.

Тепляков

ГЕНИЙ

23/100+37

Свищет буря, бушует море:
Челн меж волн,
Вихрь,
Ни звезды приветной во мраке.
Страждет сердце,
Просит душа покоя,
Жаркие мои мольбы фимиамом в небо —
Кто мне скажет: воскресни и живи?
Нет:
Он забыл меня, мой путеводный
Метеор,
Он, одетый клубящейся лазурью,
Из праха без страха
Бившийся крылами в эфир,
    и когда Господь
    радужным перстом извлек вселенную из бездны,
    в голубом пространстве рассеял ночь и день,
    слил в гармонии громы и вздохи,
Заронившийся искрою в меня.
Угасает моя душа —
Одинокое звено в цепи творений:
Появись же, мой прихотливый,
Выведи плавателя из пучин.

Полежаев

КОНЕЦ

10/32

Берег, ночь, скала, одиночество.
Вдалеке — рыбаки вокруг костра.
В черной памяти — блеск и пляска города,
И сквозь боль — незабытый светлый взор.
Жить бы мне здесь —
Как много был бы я судьбою одолжен —
А теперь у ней нет прав на благодарность.
Это юность стала раскаяньем,
Опыт — пустотой,
И желанья мои — изгнанием.

Лермонтов

ЭЛЕГИИ
2

Я занимался русской поэзией начала XX века, мне приходилось читать стихи французских символистов, которым подражали русские. Чтобы читаемое не смешивалось в голове, я старался запомнить суть, схему каждого стихотворения, отбросив все амплификационные приемы. Стиль от этого менялся так катастрофически, что иногда я стал это записывать. Больше всего записей у меня оказалось по Анри де Ренье. Это потому что я очень не люблю Анри де Ренье — может быть, в переводах это чувствуется. Подойти к нему мне помог И. Коневской, начинатель русского символизма. В его архиве в РГАЛИ безнадежно ждет публикации множество прозаических переводов стихов и прозы самых разных авторов — от Эмерсона до Верхарна и от Ренье до Ницше, и все — тем монументальным пра-русским языком, каким писал только он. Это Коневской подсказал мне несколько неожиданных слов; опираясь на них, я стал переводить остальное. Почти все стихи — из ранней книги «Игры сельские и божеские». Я прошу прощения за то, что элегии здесь перебиваются, как в оригинале, песнями и песенками.

Анри де Ренье

КОШНИЦА 18/49

Ива над рекой. Сплети прутья. Дно будет круглым.
Вечер. В эти струи смотрело Время.
Спи. Ты прожил день, и ты сплел кошницу.

Это Оры-часы босой походкой
Из Сегодня в ненасытное Вчера
Унесут в твоей кошнице свои цветы:

Друг за другом, рука с рукой. И настанет утро,
Улыбнется ива тайному лету.
Ты устанешь от ее гибкости. Ты ударишь

Резцом в резкое серебро, чеканя
Все те же цветы. Опечаленные Оры вернутся
С горьким яблоком, жесткой гроздью, сухою веткой.

Выцветут серебристые ивы. Умчатся птицы.
Ты захочешь вспомнить былую радость
И вместо серебряной выковать золотую кошницу.

Снова Оры, любя, придут на зов твой,
Но затем лишь, чтобы собрать в нее твой пепел.

И пред их наготою смежишь ты очи.

СБОР 16/46

Синяя волна, золотая пена взмелась на берег.
Белая и нагая, твои пальцы в соленой гриве.
Ты стоишь, смеешься, море лижет нежные ноги.

Заря брызжет тебе навстречу.
Травы тянутся цветками к твоей ладони.
Над тобой весна, под тобою лето.

Поле ходит золотыми волнами.
Плющ и грозд обвивают ленивый жезл.
Мох ласкает ноги. Ручей сверкает.

Отдохни. Престол твой — из солнца.
Но из низин к нему уже вползают сумерки
И хватают тебя за руки. Тропы круче,

И колючки злее. Цветы облетают под пальцами.
Дождь и мгла клубятся вкруг бледной плоти.
Ты лишь тень меж голых стволов. И слышишь:

Ржут вдали морские кони. Их шпорит Время.

ПЕСНЬ 1

24/58

Сентябрь!
Спят бок о бок двенадцать месяцев в лоне года.

Сентябрь!
Наступал твой черед настать,
Вились ржавые листья винограда над вертоградом.
Листва золотилась плодами.
Ветер был, как время в полете.
Я не знал и, плача, шел по меже.

Сентябрь!
Если бы я знал: ты придешь
На развязку всех извившихся троп,
На порог вертограда под виноградом, —
Я не бился бы лбом в затвор зимы,
Не рыдал бы цевницами апреля,
Не считал бы кружащиеся листья,
Как песчинки золота в часах,
И не задыхался бы летней страстью,
А сказал бы только:

Сентябрь!
Вот ты ждешь меня, и Любовь с тобой рядом,
На порог легла ваша двойная тень,
Ветер свеж, как время, и над водой
Распускаются фонтаны, как пальмы,
И как лилии лебединые шеи.

ДВОЙНАЯ ЭЛЕГИЯ

— Там, где нежилась горлица, стонет филин.
Из твоей могилы растут цветы.
Воротись: твой сад тебя ждет.
Необутый и постарелый,
Воротись из забывчивых твоих мест

Долгою тропой
К нашему источнику, который плачет,
А потом смеется своим слезам.

Двери смазаны оливковым маслом,
В ясеневых чашах — молоко и вино,
Яблоки — на столе.
Я так любила тебя мертвого, что ты будешь жив.
А когда не станет во мне надежд,
То не станет в часах воды и в лампаде масла.

— Пусть горит лампада, а часы плачут, —
Мне к источнику твоему не прильнуть,
Потому что поцелуи умирают с губами.
Я прах под мрамором,
Я тень неслышная,
И твоим рукам меня не обнять —
Разве что во сне,
На пороге, где ты замрешь, почувствовав,
Как я приближаюсь к тебе сквозь ночь,
Ибо только там ты достойна призрака.

ПРИЗРАК

Вглядись в свет, вглядись в тьму.
Вечер красен кровью, рассвет — румянцем.
Плачет влага, страждет душа.
Вечер мчится, держа кого-то за руку.
Путь раздваивается, как копыто фавна.
В сущем звере скрыт мнимый бог,
Как в кремне — огонь,
Как в тебе — призрак,
Как в зеркале — отражение зеркала.
Твой поющий голос — и тот,
Когда ты испьешь смертных струй,
Не пойдет ли тенью вслед твоей тени
Выть
От крыльца до крыльца и от ворот до ворот?

ПЕСЕНКА 10

14/31

Нежный рассвет.
Нежно льются отары по нежным тропам:
Баран белый, баран черный, ягнята пестрые.
Голубеет луг,
И деревья поют навстречу солнцу.

Полдень полон пчелиным звоном,
Тяжелеют гроздья,
И быки спят в траве, как зодиаки.

В вечер нивы колосьями уперлись
В небо, умолкают леса,
И два колокола, ближний и дальний,
Один густ, другой светел,
Звоном борются за синее небо,
Чтобы не увял ни один цветок.

ПРИПЕВ

15/30

Водоросли как мысли,
Серебряные в синем,
Золотые в зеленом.
Водоросли как змеи
На забвенном жезле Меркурия.
В водорослях раковины,
В раковинах поет прошлое,
Печали мои и радости.
Водоросли узорами,
Как жилы, которыми
Наша кровь оживляет
Песок и камень.
Убаюкайте, водоросли,
Колыбельную раковину,
В которой поет мое прошлое.

СОСУД

25/128

Сосуд рождался из ображаемого камня.
Я отбросил свой резец и стал ждать.
Плод за плодом слышно падал с ветвей.
Ветер веял далекими цветами.
За ручьем, за лугом пела свирель.

Фавн, буланый, плясал в листве из охры с золотом.
Шли по краю небосвода женщины с снопами на плечах.
Утром трое их было у источника,
И одна заговорила со мной, нагая:
«Изваяй сосуд по образу моему».

И тогда сад, и лес, и поле вздрогнули,
Сплелись в пляске нимфы от трех тростин,
Огнекожими стали фавны,
Вспыхнули свирели,
Загудел кентаврами горизонт, —
Средь толчков копыт, стука пят
В граде хохотов, ржанье морд, криках губ,
В душном запахе пота и растоптанных плодов,
Строгий и думный,
Я ваял вихорь жизни на круглом камне.
Пали сумерки, и я оглянулся.

Сосуд высился, нагой, среди тишины,
Хоровод взвивался по нем спиралью,
Ночь кончалась,
И я плакал, и проклинал зарю.

ПЕСЕНКА 2

17/28

Ничего у меня нет,
Только три золотые листика,
Только посох, только пыль на подошвах,
Только запах вечера в волосах,
Только отблеск моря во взгляде.

Золотые они, с красными жилками,
Я их взял из пальцев спящей осени,
Они пахнут смертью и славою
И дрожат на черном ветру судьбы.
Подержи их:
Они легкие, и припомни,
Кто к тебе постучался в дверь,
И присел у порога, и ушел,
И оставил три золотые листика
Цвета солнца и цвета смерти.

А потом раствори ладонь и дай
Улететь им в ветер и вечер.

ЧАСЫ 5/20

В каждом часе картинка. То волк, то агнец.
То кусает, а то ласкает.
Каждый час несет подарок году:
Розу, яблоко, голубку, корзину, зеркало.
Взгляни в зеркало: в нем лицо забвенья.

ПЕСЕНКА 3 20/39

Постучись:
Над высокой дверью лозы и плющ
Въелись в старый камень,
И ночной забвенный дом
Улыбается розовой заре.

Весна,
В окнах свет и на плитах пола блеск.
Улыбнись на пороге.
Хочешь — сядь у очага, чтобы прясть,
Хочешь — вот тебе
Деревянная чашка, оловянная тарелка,
Хлеб, вода и яблоко.
Поживи здесь: дорога нелегка.

Но улыбка твоя уже
Как прощальный поцелуй.
Ну что ж,
Вот тебе цветок,
Золотой светильник и три опала,
Плащ, сандалии, пояс, а на поясе
Ключ, —
А теперь в дорогу: туда, где люди.

НОЧЬ БОГОВ

Я шла за тобою и перед тобою,
А ты не видел и не слышал меня.
Обезбоженный, ты искал богов,
Но дриадин ствол
Лишь царапал тебе руку пустой корою.
Не струилась текучею наготой
По излучине вытянутая нимфа,
Ни Пегас не вбивал копыт в песок,

Ни сатир не прохаживался в припляске.
Я предстала тебе, и ты не удивился.

Обеги всю степь,
Пустыри, дубравы, вертограды, пахоты,
Взойди в город, где люди живут, смеются, поют и умирают,
Жжет жаровня, пляшет костер, дымится печь,
Ярый молот кует металл к металлу
Для брони и для серпа, — но в дыму
Нет над городом дымки фимиама,
И под молотом не ваяется божий лик.
Ничего нигде.

Отчего же ты нас ищешь, ловец без стрел?
Разве пашни не пышны и без Кибелы,
Рокот моря не слаще Сирен,
Разве ты не рад, что не нужно
Отдавать охранительным богам
Самый сочный плод, самый тяжкий грозд, самую белую телицу?
Пожинай свой хлеб, ешь и пей, плачь и смейся вровень с миром,
Человеку боги не надобны.

Но я вижу, слова мои напрасны.

Тогда слушай. Я одна из тех,
И одна еще вижу этот свет,
Потому что я земная и подземная.
Вот плод, вот семя его: вкуси,
И закрой глаза от золота ночи,
И безмолвствуй.
Шаг, другой. Осторожней. Ниже. Стой.
Теперь смотри.

Смутный мрак, темный свет,
Черная и тинистая река, кольцом
Обомкнувшая то крутой, то пологий
Остров, где ютятся боги. У них
Белые волосы и седые бороды.
Толстый Вакх
Опускает пересохший кувшин:
Тирс без лоз, жезл без змей,
Сломлен рог на ширококостном лбу
Фавна, и тоскливые спят сатиры
В бестелесной тиши.
Марс подвязывает медную подошву,
И Венера щупает черный Стикс
Все еще прекрасной ногой,
И Нептун ищет брод концом трезубца.

Это они
Были встарь и судьба и прорицание,
Клик волхва и отголосок пещеры,
Лира и кимвал, лавр и роза,
Колесничный гром,
Шепот неба, трепет земли,
Волны нив, долгий ветер над дубровой,
Говор моря, родник, ручей, река,
Стрелы в тело, молнии в скалы,
Дрожь любви между небом и землей,
А теперь ничего. И только тишь.

Поворачивая голову, они
Водят взглядами, следя круговой
Бег Пегаса: он вскинется, он грянется,
То помчит, то вздымется на дыбы
И заржет, но ни звука в воздухе,
И разбросит крылья, и вновь, и вновь,
А они тяжелы и опадают.

Это все, сын мой.
Ступай назад,
В жизнь —
А мне пробил мой преисподний час
Меж земной и подземной половиною,
Полупленнице, полустраннице.
Но пред тем, как переступить
Твой порог, отряхни с своих подошв
Черный прах,
Еще влажный брызгами Стикса.

ПЕСЕНКА 9 19/33

Вчера была зима,
Сумрак, ветер, море, дождь и снег,
Жесткая подстилка.
По булыжнику шла с мертвым лицом
Рослая Печаль,
И я молча клонился у обочины
И ловил слезами ее ладонь.

Апрель смел снега,
Вывший ветер шепчет и нежит,

В море — лодки, в саду — цветы,
И с цветком на пороге — ты
Улыбаешься моему приходу,
Встав под сводом узловатых ветвей,
Где в кровавых шипах родятся розы.

Что сказать тебе? Давай помолчим.
Замирает моя поступь. Ручей чуть плачет.
Помолчим.
Опахнули нас широкие крылья вечера.
Завтра я расскажу тебе светлый сон.

БЫЛОЕ

7/28

Зрелые плоды, красные цветы. Море.
Мост на черных ногах и в белой пене.
Желт закат. Блеск резной сирены на корме.
Борт плывет. Ветер с моря, ветер с гор.
Те цветы были в ветре еще душистее.
Дух как парус. Сердце спит, как сирена.
Память моря — как якорный канат.

СПУТНИК

По следам твоим ступает Былое.
Смутный спутник, невидимый для видящего,
Он у тебя за спиною,
Но оборотись, и он послышится впереди.
Мы сбираем цветы, а он — их тени.
Мы вкушаем гроздья с его посадок.
Мы обсохнем у огня, он — у пепла.
Отраженье его — в твоем ковше,
Его голос — в отголоске твоих выкликов.
Где паук ткет ткань, там и он,
И одежда твоя соткана из прошлого.
Он спит в твоем сне,
Он идет за тобой с зари до вечера,
Чтобы в полдень протянуть тебе зеркало.
И увидишь ты в тусклом хрустале:
Вот — ты, вот — он,
Ибо все, что было, всегда при нас.
Он все помнит, а ты лишь вспоминаешь.

ПЕСЕНКА 6

18/31

Скажи:
Это осень пришла, шурша по листьям,
В чащу входит стук топора,
И над прудом вянут птицы и падают,
Стрела за стрелой.

Скажи:
Вот зима, над морем солнце, как кровь,
Лодки вмерзли в берег, дымит очаг,
Гложет ветер, и горек вечер,
Я — зима и боль.
И я буду тебя любить.

Но ты скажешь:
Посмотри: все зеленое и розовое,
И звенящий апрель сплетает в прядь
Розу с розой и радость с радостью.
Я — заря твоя, крылья ввысь, сладок рот,
И к тебе
Мои руки цветут весенним запахом.

НЕЗРИМОЕ ПРИСУТСТВИЕ

6/24

Шелест времени над травами. Червь
В балке, рябь в ручье. Стертость, ржавчина,
Трещина. От прикосновения плод
Загнивает. Не нужно ни циферблата,
Ни соборных колоколов. Все скажут
В бледной влаге бледные лепестки.

ПЕСНЬ 4

28/52

Сквозь апрель смеялась весна,
И плескалась смехом
От ствола к стволу, от зари к заре,
Пел ли мальчик, напевал ли старик,
Откликаясь каждому оклику.
С виноградною лозою в руке
Она шла к зеленому пруду,
Где я срезал, чтобы спеть ей привет,
Самую зеленую из тростинок.

Лето спит щекой на руке,
И в разжатых пальцах — дремлющий колос.
Спящий серп обещает выжать степь
До краев синевы, где серп небесный.
Время каплет, в струйке ручья —
Мертвый лист, и увядает цветок,
Тополя поворачивают тени,
И рассвет
Серебро моей цевницы красит в золото.

Сквозь туман улыбалась осень,
Лоб в морщинах, руки в жилах, ноги в крови.
Виноградари обирали гроздья
И в больших корзинах несли в давильни,
Окликали ее, а она ни слова.
Она шла с неживой улыбкой, тихая,
От лозы к лозе, от ручья к ручью,
Все суровее, все высокомернее,
И ей слышался в неостывшем вечере
Плач зимы в почернелых тростниках.

НОША

18/40

Оставь меч, оставь свирель.
Перевей тирс меркуриевыми змеями.
Час покоя. Жар зари стал пеплом заката.

Пусть тростник на том берегу
Ждет другого, чтобы запела флейта.
Лавр бойцов — лишь сень над асфоделями.

Свет зари, злато полдня, черная ночь.
Жизнь — покой для прожившего и отжившего.
Кровь из раны не бьет, а лишь сочится.

Радость, Горе, Любовь перецвели.
Рыжегривая Гордыня подмята Участью.
И Надежда заблудилась на гнутых тропах.

Брось свирель и меч. Стебель вял, сталь иззубрена.
Ясный день, ненастный день — ночь одна.
Изваяй гробницу всему, что в памяти.

Страх прошел, как жизнь. Встреть приветливо
Жезл Меркурия, две свитых змеи —
Ключ к покою.

КЛЮЧ

Не спеши
В жизнь, где плоть — как цветы, и плоды — как золото,
Кипарисы — как грусть, а тростник в ветру — как радость:
Прежде пусть вручит тебе Рок
Ключ от долгого твоего приюта.

А потом ступай себе в путь
Меж двух спутниц, Надежды и Любви,
Одна — с пальмовой ветвью и черной флягой,
А другая — с тяжкой гроздью и вздетым зеркалом.
Будут море, грозный лес, гневное золото
Нив под светлым ветром; нагое лето
Даст губам твоим пьяный плод в раскрытой раковине;
Брызнет персик, хрустнет в зубах
Отзвучавший свою песню тростник;
Будет ветер мчать, вода смеяться сквозь плач,
И напористый ливень, и робкий дождик
От первого листка до последнего цветка.

Но когда наступит осень, вечер и в тяжком
Золоте дубрав по дороге вдаль
Канут друг за другом Любовь и Надежда, —
Ты услышишь ли у черного твоего пояса
Ключ,
Кованный из золота, железа и меди
Для дрожащей руки перед замком
Вечных врат, где створы — мрак и пороги — ночь?

КАРТИНЫ
1

Э. Верхарн

Из «Призрачных деревень»

ПЕРЕВОЗЧИК 17/60

Перевозчик гребет к бурному берегу,
А в зубах зеленая камышинка.

Крут поток,
И все дальше облик на берегу.

Сломлено весло.
Смотрят очи окон и циферблаты башен.

Сломлено другое.
Все отчаянней облик на берегу.

Сломлен руль.
Меркнут очи окон и циферблаты башен.

Он без сил.
Только слышен голос на берегу.

Рвется взгляд
В умирающий голос на берегу.

Море раскрыло пасть.
Гибнет страсть,
Но жива в волнах зеленая камышинка.

РЫБАКИ 15/88

Ночь. Снег.
Река. Луна.
Огоньки. Рыбаки.
Судьбы в безднах. Неводы над безднами.

Полночь бьет.

Сырость. Сирость. Безмолвие. Онемение.
Каждый тянет свое из черных вод:
Боль. Беду. Нищету. Раскаянье.

У реки ни конца и ни начала.

Тишь. Смерть.
Не дырявит туман кровавый факел.
Люди удят себе погибель.

А над спинами, над тучами, над мраком —
Светлокрылые звезды в голубизне.

Но застывшие этого не чувствуют.

СТОЛЯР

12/75

Столяр знания
Шарит вздыбленным мозгом
В золотой ночи мирозданья.

Блеклый взгляд сквозь очки,
Растопыренный циркуль, отвес, лекало,
Тень от рамы крестом на верстаке.

Мир сквозь ум
Точится в квадраты, триангли, диски —
Без огня и даже без тоски.

Эти диски — как просфоры причастия.

Он умрет — и будут играться дети
Безделушкой вечности.

ЗВОНАРЬ

15/78

Как слепые быки, ревет гроза.
Молния в колокольню!
Запрокинутый звонарь в вышине —
И набат над площадью
Громом рушится в зернистые толпы.

Колокольня осыпается искрами.
Звонарь бьет в безумье и в страх.

Колокольня по швам в разрывах пламени.
Дико пляшут колокола.

Золотые щупальца вкруг помоста.
Звонарь вызвонил погребальный зов.

Раскололись стены.
Черными углами метнулись колокола.

Звонница иглою в земле.
Звонарь мертв.

КАНАТЧИК

21/106

На столбах крюки, на крюках волокна,
За столбами поля и закатный горизонт,
А перед столбами канатчик
Сучит вервь из волокон и лучей, —
Отступая вспять, вспять, вспять,
Тянет из заката пыланье далей.

Там бушует ярость веков,
Полыхают путеводные молнии,
Красной пеной кипят отравы.

По дороге пыльной, вспять, вспять,
Тянет на канате буйные дали.

Там пылает металл в плавильнях,
Жизнь и смерть из реторт взрывают мир,
Знанье бьет крылами над гробом Бога.

Меж рекой и лугом, вспять, вспять,
Тянет к яви строгие дали.

Там сплотится мечта и мысль,
Там закон осенит покой,
Там в любви отразится бог.

Вспять —
На канате звездные дали.

МОГИЛЬЩИК

21/115

В черном зеве ямы рябит могильщик.

Кладбище — сад гробов и кипарисов.
Треснутые плиты, отравленная пыль.

Яма ждет покойников нищеты.

Все дороги сползаются к кладбищу,
А в гробах — окоченелая страсть,
размозженная доблесть,
догнивающая любовь —

Колокольный звон над могильщиком.

— выдохлось вдохновение,
расползается мысль —

Над могильной пастью стоит могильщик.

— непрощенные обиды,
неуслышанные мольбы —
В стуке комьев земли по крышке гроба.

Это в хрусте костей
Настоящее
Отгрызает прошлое у будущего.

Над могилой — холм.
Над колоколами — гудящий ужас.
И могильщик вбивает черный крест.

Из «Полей в бреду»

ЛОПАТА

16/48

Серая земля, серое небо,
Голый луг, стылый холм.
Встала мертвым деревом, воткнута холодным железом,
Лопата.

Начерти на глине крест.

Сад дик, дом пуст, на полу зола.
Богородица упала из ниши.

Начерти над домом крест.

Трупы жаб в колеях, стоны птиц над колеями.

Начерти над степью крест.

Вырублены деревья.
Смолкли колокола.

Начерти над миром крест.

Солнце ворочается, как жернов.

Над взбухшим трупом земли —
Лопата.

Из «Городов-спрутов»

ЗАВОДЫ

21/105

Красные кубы, черные трубы
Верстами в ночь, —
Желтоглазые над смолью каналов,
День и ночь клокочут заводы.

Дождь, асфальт, пустыри, лохмотья,
Из трактиров сверкает ярый спирт,
Низколобая злоба бьется в злобу,
В сердцах скрежет,
И клокочут заводские корпуса.

Дышат паром стальные челюсти,
Золото под молотом брызжет в тьму,
Лязг, напор, маховик, как пленный вихрь,
И снующие зигзаги ремней
Шестизубьями в такт, в такт,
В клочья рвут вылетающее слово.

За стеной — каналы, вокзалы, бег
От заводов к заводам и заводам
Чередой, грядой, в клокоте, в клекоте,
И огни взмывают вдаль, вдаль
В ржавое небо к слепому солнцу.

И в воскресный день
Город спит, как молот на наковальне.

БИРЖА

20/95

Золотой кумир
Над побоищем черных скопищ,
Огненный перекресток
Страха, риска, гордыни и безумия.

Золотой маяк,
И плывут к нему паруса ассигнаций.

Золотой дворец,
Бег вверх, бег вниз, сушь губ, всхват рук,
Вал цифр в вал цифр,
Бьются, рвутся, мчатся, разятся,
Предан, предал, сгинул, выжил,
Слажено, порвано, сторговано, упущено,
Самоубийцам — похороны по первому разряду.

Золотой мираж,
К нему взмолены миллионные руки.

Золотая пирамида, золотой куб,
И на цифрах к нему мостится счастье.
Все в одной петле,
Ненависть работает, как машина.

Золотая ось колеса фортуны.

ПОРТ

21/65

Все моря прихлынули к городу.

Порт оседлан тысячею крестов.
Солнце — красный глаз.
Лязг цепей, грохот молотов, рев гудков.

К городу прихлынули все моря.

Море тяжкое, море земледержное,
Море множеств, море — спор и напор,
Взрывы нежности и порывы ярости,
Море — пьяный дикарь — корчует скалы.

Мол, как кнут, перерезает прибой.

Вавилоны! Сплав ста народов!
Город-пасть, город-пясть, схватить весь свет!
Белый норд, желтый юг,
Склады вздыблены: горы, леса и трупы —
Словно в неводе, все на вес и в торг,
Огненные вымыслы сквозь хищные числа
Цедятся в золотой котел.

Знак Меркурия на загаре матроса.

Нефть и уголь дышат в улицы с набережных.
Вспышки катятся по рельсам, и вдаль, и вдаль.

Город дышит миром сквозь поры порта.

БУНТ

33/104

Улица — летящая лава тел,
Бешено вскинутые руки,
Взрыв, порыв и призыв;
В огненном закате —
Смерть: набат,
Копья, косы и скошенные головы.

Все, что снилось, мнилось, томилось в душах,
Вдруг взметнулось тысячею клинков.

Глухо ухая,
Отмеряют пушки за ревом рев.
Циферблаты как глазницы без век:
Камень, треск, и времени больше нет.
Миг порыва
Перевесил столетия ожидания.

Все на пир ликующей крови,
Живые по мертвым,
На штыки, усталые ранить!
Встал пожар золотыми башнями,
Огненные руки рубцуют ночь,
Крыши рвутся в черное небо.

Молот в дверь, пляшет ключ, сбит запор,
Пламя лижет судейские залежи.
Вдребезги витражные лики,
На последнем гвозде повис Христос.
Просфоры — как снег под подошвами.
Старье — в клочья!
Трупами вздыбливаются рвы.

Космы пламени на ветру.
Дым метет подзвездные выси.

Убивать, возрождаться, рождать
Или пасть —
Роковая глубинная мощь — одна,
Встань весна зеленою или красною.

Из «Представших на пути»

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ

Молния стелется тропой из туч.
Отвесный всадник летит с небес.

Серебряный вихрь, золотой удар,
Блещущий меч и копье, как луч, —

На крик моего измора.

Белый огнь, колокольный звон,
Круженье звезд в распахе небес,

Где в безднах — ангельские ладьи,
И в высях — дева, царица, мать —

Над мраком моих мучений,
Над шрамами души,
Над немощью стыда,
Над злостью лжи,
Над бегством в бедства, где смерть,
Над ночью,

За которой свет — как совет,
И волною льется святой Георгий
В душу, падшую на колени:
Ночь — прочь, свет — вслед,
И на вскинутом лбу моем — лучезарный след.

КАРТИНЫ
2

Это — «картины» в самом точном смысле этого слова. Георг Гейм знаменит именно живописной яркостью зрительных образов в своих экспрессионистических стихотворениях. Перевод старался как можно более точно передать эту зримость; свобода от рифм и ямбического ритма оказалась очень полезной. Никаких конспективных экспериментов здесь не было.

Георг Гейм

КРЕСТНЫЙ ХОД

Бескрайний край, где лето и ветер,
И ветру вверились светлые облака,
Где зреет золотом желтое жито,
И связанная в снопы высыхает рожь.

Земля туманится и дрожит
В запахах зеленых ветров и красных
Маков, которые уронили головы
И ярко горят от копны к копне.

Проселок выгнулся в полукруглый мост
Над свежей волною и белыми каменьями
И длинными водорослями в длинных
Струях под солнцем, играющим в воде.

Над мостом возносится первая хоругвь,
Пылая пурпуром и золотом. Оба
Конца ее с кистями справа и слева
Держат причетники в выцветших стихарях.

Слышится пение. Младший клир
С непокрытыми головами шествует
Впереди прелатов. Старинные, благолепные
Звуки над нивами разносятся вдаль.

В белых одежках, в маленьких веночках
Маленькие певчие истово поют;
И взмахивают кадилами мальчики
В красных сутанах и праздничных шлыках.

Алтарные движутся изваяния,
Мариины раны сияют в лучах,
И близится Христос с деревянным желтым
Лицом под сенью пестроцветных венков.

Под навесом от солнца блещет епископская
Митра. Он шагает с пением на устах,
И вторящие голоса диаконов
Возносятся в небо и разносятся по полям.

Ковчежцы сверкают вкруг старых мантий.
Дымят кадила тлением трав.
Тянется шествие в пышности полей.
Золото одежд выцветает в прожелть.

Шествие все дальше. Пение все тише.
Узенькая вереница втягивается в лес,
И он, зеленый, блещущую глотает
Темными тропами златодремлющей тишины.

Полдень настает. Засыпают дали.
Ласточка заблудилась в бескрайних высях.
И вечная мельница у края неба
Тянется крыльями в белые облака.

ВЕЧЕР

День потонул в червонном багрянце.
Река бела небывалой гладью.
Движется парус. У руля, как вырезанный,
Лодочник высится над большой кормой.

На всех островах в прозрачное небо
Вскинулся красный осенний лес,
И шелест веток из темных омутов
Отзывается дрожью кифарных струн.

Сумрак с востока разливался вширь,
Как синее вино из опрокинутой чаши,
А поодаль стояла, окутанная в черное,
На высоких котурнах большая ночь.

ЗИМА

Зима врастяжку. По ровной глади
Голубые снега. На дорогах стрелки
На четыре стороны показывают друг другу
Лиловое безмолвие горизонта.

Четыре дороги, все — в пустоту,
Скрестились. Кусты — как стынущие нищие.
Красная рябина блестит печально,
Как птичий глаз. Четыре дороги

Застыли на миг пошептать ветвями,
И вновь вперед, в четыре одиночества,
На север и юг, на восток и запад,
Где небо к земле придавило день.

Земля из-под жатвы горбом, как короб
С треснувшей плетенкой. Белою бородой
Она щетинится, как солдат после боя,
Сторож над мертвыми после жаркого дня.

Снег бледнее и день короче.
Солнце дышит с низких небес
Дымом, которому навстречу только
Лед горит, как красный огонь.

НА СЕВЕРЕ

Бурые паруса вздуваются на тросах.
Карбасы бороздят серебристый залив.
По бортам свисают сети, тяжелые
От чешуйчатых тел и красных плавников.

Они возвращаются к молу, за которым
Сумеречный город в чадном дыму.
Вечерние огни расплываются зыбкими
Красными пятнами в темной воде.

Плоскоморье каменною плитою
Залегло на синем востоке. День
Встал на колени испить от света
И роняет в воду красный лист из венка.

Золотое облако дрожит вдали —
Это встает из глубин янтарный
Лес, и в сумеречную дымку дня
Широко распростирает желтые ветви.

На ветвях прогнулись потонувшие моряки.
Их волосы свисают в воду, как водоросли.
Звезды, встав в зеленую ночь,
Начинают свое морозное шествие.

СЛЕПЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Слепые шествуют за поводыршами —
Черные исполинши, глиняные молохи
Над плечами тянущих рабов, — запевая
Долгую, протяжную песнь слепых.

Твердым шагом вступает их хор
В железный лед обставшего неба.
Ветер клубит над широкими их макушками
Пепельные пожары седых волос.

Великанские посохи их прощупывают
Улицу до самого взгорбья. Огромные
Гробы лбов их запечатаны огненной
Пентаграммой черного божества.

Вечер вывешивает огненную бочку
На сучья тополя в самый горизонт.
И руки незрячих тычутся в солнце
По веселому небу, как черные кресты.

ОФЕЛИЯ

Желтое поле. Кровавым потом
Потный полдень. Ветер заснул.
Вот она плывет, умирающая птица,
Под белым кровом лебяжьих крыл.

Мягко опали голубые веки.
И под сверканье звенящих кос
Снится ей поцелуй, как пурпур,
Вечный сон ее в вечном гробу.

Мимо, мимо! Туда, где над берегом
Гудящий город. Где в плотинный створ
Белый бьет бурун, и на все четыре
Стороны стонет эхо. Туда,

Где гул по улицам. Колокольный звон.
Машинный скрежет. Борьба. Туда,
Где запад грозится слепым и красным
Кругом, где вычерчен подъемный кран.

Подъемный кран, чернолобый тиран,
Молох над павшими ниц рабами,
Тягота мостов, которые для него
Коваными цепями сковали реку.

Незримая, плывет она по струе,
И где ее мчит, взметается люд
Большими крыльями черной тоски,
Тенью ширящейся с берега на берег.

Мимо, мимо! Где в жертву мраку
Лето закалывает поздний закат,
Где усталая истома позднего вечера
Темной зеленью легла на луга.

Поток ее мчит, навек погруженную,
По стылым заводям встречных зим
Вниз по течению времени, в вечность,
Где дышит дымом огненный небосвод.

ГОСПИТАЛЬ

I

Белые простыни, постель к постели,
Расплываются в холод больничных стен.
Все болезни прогуливаются по коридорам,
Точно проволочные куклы. На каждого —

Их по нескольку. Над каждым выведен
Белым мелом перечень его мук.
Здесь горячка — как гром. Внутри у всякого —
Жар вулкана. Глаза устремлены

В потолок, где паук и паучиха
Тянут липкую сеть из животов.
Они скорчиваются, торча коленями,
В жарком поту под холодным бельем.

Их ногти обкусаны до мяса.
Морщины их горящего лба —
Как борозды, вспаханные ужасом,
Пашня Смерти под красною зарей.

Они тянут бледные руки
В тряске зноба, в отчаянье немоты.
В их черепе черною каруселью
От уха к уху мечется мозг.

Их спина расседается трещиною.
Из беленой стены вытягивается рука,
Медленная, костлявая, и жесткою
Хваткой сдавливает их гортань.

II

Опускается мрачный вечер. Тупо
Они вкорчиваются в подушки. С реки
Наползает холодный туман. Бесчувственно
Они внемлют молитвословиям мук.

Медленная, желтая, многоногая,
Наползает в их постели горячка.
И они в нее глядят, онемелые,
И в зрачках их — выцветшая тоска.

Солнце тужится на пороге ночи.
Пышет жар. Они раздувают ноздри.
Их палит огонь,
Красный круг их взбухает, как пузырь.

Там, над ними, Некий на стульчаке
Ими правит жезлом железным,
А под ними роют в жаркой грязи
Черные негры белую могилу.

Меж постелей идут похоронщики,
Выдирая рывком за трупом труп.
Кто не взят, тот взывает, уткнувшись в стену,
Ужас гнусного мертвецкого «прощай!»

Комары зудят. Воздух плавится.
Горло пухнет в багровый зоб.
Рвется зоб, льется огненная лава,
Голова гудит, как каленый шар.

Они рвут с себя липкие рубахи,
Пропотелые одеяла — прочь,
Голые до пупа,
Качаются они маятниками бреда.

Смерть паромом подплывает сквозь ночь,
Через темный ил и слизь морских топей.
Они слушают, замирая, как гремит
Ее посох у больничных порогов.

Вот к постели несут причастие.
Поп больному мажет маслом лоб и рот.
Выжженная глотка мучительно
Вталкивает просфору в пищевод.

Остальные вслушиваются,
Словно жабы в красных пятнах огня.
Их постели — как большой город,
Крытый тайной черных небес.

Поп поет. В ответ ему каркает
Их молитв жуткий пересмех.
Их тела трясутся от гогота,
Руки держатся за вздутый живот.

Поп склоняет колени у кровати.
Он по плечи ныряет в требник.
А больной привстает. В его руке
Острый камень. Рука его в размахе,

Выше, выше. И вот уже дыра
Вспыхивает в черепе. Священник — навзничь.
Крик
Замерзает в зубах навстречу смерти.

АДСКАЯ ВЕЧЕРЯ

I

Вы, чья от горя выцвела кровь,
Вы, бичуемые бурями мук,
Вы, чьи лбы простерлись под гнет,
Вы, в чьих очах, как стекло — тоска,

Вы, чьи виски, как проказа, жжет
С детства родимое пятно мертвецов, —
Приидите ко причастию: вот дары,
Проклятые в обители вечных мук.

Взойдите на мост над черной рекой,
Где без края толпится обреченный люд,
И темный вас приветит портал,
Блещущий в сумерках большим алтарем —

Алтарем, озаренным тысячью свечей
Из жира и крови нерожденных тел,
Где свисают кости и веет в лицо
Дьявольских фимиамов красная грязь,

Где в адских ризах святители гнут
Колени под звон небывалых месс,
И по всем амвонам за стягом стяг
Грозят вам, как алые адские языки.

Перед Божьим образом голый аббат
Вздувает брюхо, выводя напев.
Он хватает чашу, в чаше красная кровь,
Он вздымает ее над лбами толпы:

«Пейте мою кровь». Он пьет ее сам,
Красной лавой вскипает его душа,
Его глотка горит, как чермные моря,
Божьей кровью блещущие чрез берега.

Над вашими лбами, над гнездовьем мук,
Над черными флешами адских сил
Узкий, острый, как черный язык
Скорпиона, взвивается бегучий огонь.

Ломятся в храм сквозь разинутые врата
Тучи, чреватые молнией и грозой.
Буря бушует. Ливень, как ночь,
Угашает дальний органный хор.

Могилы взрываются. Вздыбились мертвецов
Белые и холодные костяные персты.
Они вас манят в родимый мрак.
Мертвыми криками гремит собор.

Плиты проваливаются. Кипят
Водопады Леты внизу, в глуби.
Гудит многоверстный водоворот
Дальними отгулами чудовищных бурь.

Исчадья ада устремляются в смерч,
С пеньем глядя в свой пенный гроб:
Черными парусами снащен их корабль,
А белые борта — из зияющих черепов.

II

В выси, где тени сгустились в тьму,
В тысяче вечностей над бездной мук,
Над бушеваньем ливней является
Бледное, как утро, Божье лицо.

Дальние церкви наполняет сон
Сфер, безмерный, как лепет арф,
Когда, как месяц с большого небосвода,
Белое наклоняется Божье чело.

Приблизьтесь. Рот его — сладкий плод,
Кровь его — тяжкое медленное вино,
На его губах в темнокрасной заводи
Зыбок синий жар полдневных морей.

Приблизьтесь. Нежен, как бабочкина пыльца,
Как юной звезды золотая ночь,
Мерцает рот в бороде златобородого,
Как в темном раскопе мерцает хризолит.

Приблизьтесь. Прохладнее змеиной кожи,
Мягче он пурпурных царских риз,
Нежнее заката, который обесцвечивает
Дикую боль огненной любви.

Скорбь падшего ангела — словно сон
На лбу его, белом троне мучений,
Грустном грустью того, кто пробуждается,
О виденьях, канувших в белый рассвет.

Глубже, чем тысяча пустых небес,
Его горечь, прекрасная, точно ад,
В красной бездне которого теряется
Бледный луч с полуденной вышины.

Его боль — как ночной двусвечник.
Это пламя облегло ему голову
И двумя рогами в дремучей роскоши
Из его кудрей вонзается в тьму.

Его боль — как ковер, по которому
Письмена каббалистов горят сквозь ночь,
И как остров, минуемый плавателями
В час, как в дебрях кричит единорог.

Его боль — в ней тень и сень дубрав,
Взлет печальных птиц над большими заводями;
Это царь, в горностаях и задумчивый,
Тихо шествует сквозь склеп своих предков.

Приблизьтесь. Загоритесь его скорбями.
Впейте вздох его, холодный, как лед,
Вздох, принесшийся из-за тысяч эдемов
Ароматом, впитавшим всякое горе.

Вот он смотрит, он улыбается, —
И душа у вас тиха, как пруд в камыше,
Тихо наполняемая пеньем Пановой
Флейты, льющимся из лавровых рощ.

Усните. Ночь, сгущаясь в соборе,
Угашает огни на высоком алтаре,
И огромный орел его безмолвия
Зыблет тень своих крыл на ваших лбах.

Спите, спите. Темный божеский рот
Вас коснется осеннею ли, могильною ли
Свежестью, и мнимый расцветет поцелуй,
Желт, как гиацинт, ядовит, как мучница.

СТАНСЫ

Все стихи Мореаса — из книг «Стансов» (нумерация их — на поле слева), где почти все стихотворения — по 16 строк. Когда они сжаты в переводе до 4 строк, то, кажется, ненамеренно становятся похожи на китайские или японские стихи.

Ж. Мореас

1, 11 Смейся, как весенние ветки,
плачь, как ветер.
Жизнь — она ни счастье, ни горе,
она — лишь призрак.

4, 8 Ты смеешься в горе и сам не знаешь,
зачем тебе песни.
А ведь жизнь и смерть, и доброе и злое —
все только для лиры.

Add. Вспоминаю родину, бледные оливы,
взнесшийся кипарис.
Почему она перед глазами и в сердце?
Потому что она далеко.

1, 15 Солнце из тумана, из юга — север:
я — как ты, Париж:
Радость плачет в глазах моих, и горек
Рок — в улыбке моей.

1, 17 Пар, свисток, поезд в ночь, время влет,
вспыхнут розы, и пожелкнут листья.
Рождаясь, прощай! умирая, прощай!
Это горе мимолетно, как счастье.

2, 12 Смеется апрель,
добрые мысли возвращаются, как листья.
Капля меда
в горькой чаше расставания с бытием.

Add. Когда-то тенистый,
влажно лег мне на лоб осенний лист,
И душа в грезе
раскрывает преддверье своей судьбы.

3, 18 Серебряная луна
над мачтами порта, над мраморами парка,
Над гранями берега, над безгранными нивами
и Парижем, где конец всех дорог.

2, 7 От заботного города
в нежную бы рощу, к колыбельному бы морю.
Но увяли мои апрели,
и жатва моя — под чужим серпом.

6, 5 Тополя в закате
осыпают в растущий сумрак
Самоцветным севом
шитье лета по тканям осени.

3, 11 На зеленом кладбище
под вечерними птицами
Я смотрю на пахоту,
где колосьями высятся кресты.

4, 7 Я как дым,
миг живущий, но вставший из огня.
Склонившись,
человек разгребает очажный пепел.

5, 10 Радость и горе,
пролетите сквозь меня, не тронув,
Как сентябрьский ветер
пролетает сквозь вскинутые сучья.

2, 18 Облака над волнами колосьев
как паруса.
Скоро вы отяжелеете бурей,
как сердце мое.

3, 14 Дуб над долиной, ветер в листве,
птицы в гнездах.
Бьет гром в вершину, топор под корень, —
он печально терпит.

6, 11 Пруд у праздной мельницы —
в мертвых листьях.
В черную воду погляжу на себя
и на блеклое солнце.

1, 13 Бледное солнце осени —
надо мной, над рекой, над рощей.

Вейся, лист, холодейте, волны,
крепни, сердце.

5, 5 Мертвый лист
бьется о порог, а время в ставень.
Камин, свечка,
я один, и осень как «баю-бай».

5, 6 Вздула парус над спящим городом
ночь, кишащая одиночеством.
Вскрой окно,
и она ворвется к тебе потопом.

5, 8 Недолгая роза,
украшенье сада, любви и лиры,
Пьет, как сладость,
ржавь и смерть пронзающих ливней.

5, 7 Ветер,
раненный над каменной мостовою,
Дымная осень —
это сердце мое осыпает листья.

Add. Роза, увядшая в вазе,
зачем ее я помню?
Усталому сердцу тяжек
даже призрак розы.

5, 3 Осень
кружит листья, и с ними — мою душу.
Дай им лечь помечтать на край
твоего бассейна.

4, 17 Чаша горя нам слаще меда:
Жизнь лишь дым, смерть лишь тень от дыма
На весах бытия. Равняйте чаши.

Add. Тучи, дорога,
ветер в лицо, гром как сердце.
Крик попутного ворона
ничего в моей судьбе не изменит.

6, 2 Под остылым небом
в свисте ветра и криках охрипших птиц,
Брести в вечер,
до версты, где привал и горький ломоть.

Add. Стонущий ветер
в золотом плаще свеваемых листьев,
Что ты скажешь
позднему солнцу, поздним плодам, позднему мне?

5, 12 Чтобы не слышать, как над этим миром
стучит мое сердце,
Ночью над прибоем взмолюсь я к морю,
и меня не станет.

3, 1 Выцвело лето, зима стучится,
я отворю.
Отвздыхали листья, плачутся сучья,
ни молвы, ни друзей.
Божьей искрой выгорев в горе,
выживу, выжженный.

ПЕСНИ

Эти переводы хоть и верлибром, но почти не конспективные. Поль Фор, проживший долгую жизнь графомана, «король поэтов» 1912 г., привлекал меня светлостью своего пустозвонства, и я переводил его не для эксперимента, а для душевного облегчения: последнее стихотворение в этой подборке («Naviget, haec summa est») помогало мне жить.

Поль Фор

ПЕСЕНКА

Так, так, так — утонул рыбак.
Да, да, да — а над ним вода.

Ух, ух, ух — плачется пастух:
Ла, ла, ла — милая ушла.

Ой, ой, ой — блеет вал морской,
Да, да, да — как его стада.

Ах, ах, ах — оба в небесах,
Ля, ля, ля — а внизу земля.

У МЕНЯ ЦВЕТОЧКИ

У меня цветочки, у меня цветочки
        Голубее этих глаз.
                        — Дай! —
Они мои, и больше ничьи,
Они растут на большом холме,
                        милая моя.

У меня уголечки, у меня уголечки
        Жарче этих губ.
                        — Дай! —
Они мои, и больше ничьи,
Они горят под серой золой,
                        милая моя.

У меня сердечко, целых два сердечка,
        Целых сто.
                        — Где? —
Они мои, и они для всех,
Они цветут на нашем пути,
На пути-дороге, на пути-дороге,
                        милая моя.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ С ИГРУШКАМИ

Дроворубы, плотники, выстройте ковчег.
Из белого дерева перекиньте мост.
Из желтого дерева — крепкие бока.
Из черного дерева — всех его зверей.
Из синего дерева — море-океан.

Сделайте, плотники, сто ковчегов Ноевых для ста малышей.
В каждом по входу для больших зверей.
И еще по входику для маленьких звериков,
        чтоб вошли слоны,
                и вбежали кролики,
                        и влетели голуби,
                                и вошел бы Ной.

Сделайте, плотники, сто ковчегов Ноевых,
Сделайте, плотники, маленькие входики,
        чтоб вошло
                все-все зверье,
                        и старый Ной,
                                и ты, и я.

ЦАРИЦА В МОРЕ

Царица любила
Красивого матроса,
А он уехал в Индию
Подарить ей подарок дорогой.

        Добрым лодкам и буря нипочем!

Чужой король
С черными кораблями
Взял царицу в жены,
А она возьми да утопись.

        Добрым лодкам и буря нипочем!

Царица — в море,
А мимо плыла акула,

Раскрыла глотку
Да и проглотила, не жуя.

Добрым лодкам и буря нипочем!

В черном брюхе
Было очень тесно,
Но царица
Оставалась милому верна.

Добрым лодкам и буря нипочем!

Доброй акуле
Было очень тяжко —
Плывет она в Индию,
Где гуляют белые слоны.

Добрым лодкам и буря нипочем!

Смотрит царица —
А там белый слон,
И на нем в короне
Милый, дорогой ее матрос.

Добрым лодкам и буря нипочем!

Она ему сказала:
«Вернись, матрос, к царице», —
А он отвечает:
«У меня таких цариц полон дом».

Добрым лодкам и буря нипочем!

А он отвечает:
«Ты пахнешь, как могила!» —
«Это не могила,
Так уж пахнет в акульем животе».

Добрым лодкам и буря нипочем!

А он отвечает:
«У меня все жены
Пахнут духами —
Королевские парижские духи!»

Добрым лодкам и буря нипочем!

Царица плачет,
Акула ее прячет,
И в акульем брюхе
Возвращается царица домой.

Добрым лодкам и буря нипочем!

Чужой король
С черными кораблями
Взял царицу в жены,
И она уже ни слова поперек!

Добрым лодкам и буря нипочем!

КИТЫ

А когда мы плавали бить китов,
когда о нас плакали столько вдов, —
то при каждой был дороге Христос на крестах,
и на каждом был пороге маркиз в кружевах,
и была святая Дева, и был король!

А когда мы плавали бить китов,
когда о нас плакали столько вдов, —
то каждый матрос молился Христу,
а каждый маркиз плевал на Христа,
но была святая Дева и был король!

А теперь на белом свете всем хорошо,
не печалуйся, матросик, нынче всем хорошо —
ни Христов на крестах, ни маркизов в кружевах,
и во Франции республика, и в Париже президент,
только нет,
только нет ни единого кита!

ЖАЛОБНАЯ ПЕСНЯ ПРО КОРОЛЯ И КОРОЛЕВУ

Король с королевой, черные в черном,
идут по дубраве в вечерний час.

На ней ожерелье, на нем золотой крест.
«Возьми, возьми ожерелье: нашей любви конец». —

«Ты любила меня, королева: мне ли о том не знать?
Оставь, оставь ожерелье, возьми золотой крест». —

«Лучше помолчим под белой, белой луною:
в шелесте ветвей — прощанье ответ прощанью».

Только тень, тень плывет на замок,
только тень, и золото в листьях.

Что еще сказать, чего еще не сказано?
Ночь светла, а любовь мертва.

Что еще сказать? Небесам не милы
наша жизнь и наша любовь.

Любите: буря украсит любовь.
Страдайте: страданьям улыбнется душа.

Жалобная песня умирает печально:
король с королевой так любили друг друга!

Жалобная песня умирает бессильно:
ах, какая малость — наша земная любовь!

ПРОЗА В ВЕЧЕРНЕМ СВЕТЕ

Ранний вечер, ясное небо, синий день, голубая юность, маленькая луна, как беленькая душа.

В такую пору у открытых окон девушки за пианино сладко грезят о девушках из былого.

В такую пору томится шиповник о белой розе в мшистой руине.

В такую пору курочкам снится петушок на церкви.

А кроликам в поле — красная морковка.

В такую пору я тебя встретил до начала жизни — в пятнадцать лет, во сне, как в раю.

Синий воздух, дальние деревья, маленькая луна, как беленькая душа.

СМЕРТЬ ПРИШЛА

Бледная рука проросла в замке, вытянула палец, пролила лекарство.

Кто там? Никого. В комнате тепло, но как будто снег.

Пришла ко мне Смерть, села у огня, по белым костям дышит красный блеск. В костлявых руках маленький предмет блестит и подмигивает.

Звякнул бубенец — мне уже пора?

Нет, она встает, белая, прямая, точно минарет. Нет, она встает, треснувши суставами, и о лунный камень точит свой предмет. Наклонилась, ждет.

Сынок, ты готов?

Вот тебе и Смерть. Маленький удар, весело блеснув, развел душу с телом, и моя душа весело летит белить свое белье в длинный лунный свет.

ОНА УМЕРЛА

Она умерла от любви, ее схоронили в земле.
Ее схоронили одну, схоронили в сосновом гробу.
И весело тронулись прочь, и весело стали петь.
И вышли в поля, в поля, и пели в полях, в полях:
«Она умерла от любви, и каждому свой черед».

СМЕРТЬ СВЕТЛА

Не надо верить в смерть.
Вот солнце:
Оно, как твои глаза.
Не надо горевать.
Вот небо:
Оно, как твоя душа.
Тени расступаются: смерть светла.

Не надо верить в смерть.
Вот птицы:
Взлетают из темных рощ.
Не надо горевать.
Вот небо:
Поет, как твоя душа.
Кончилось молчание: смерть ясна.

Смерть ясна, смерть звенит —
Ангелы с архангелами радостно поют.

Люди их не слышат, а смерть верна —
Пение несется к неведомой звезде.

Смерть светла:
Небо улыбается, как твоя душа.
Не надо верить в смерть,
не надо хмурить лоб:
Душа твоя чиста,
и небо, как душа.

Смерть пришла, и открылась жизнь —
Светлые души вокруг со всех сторон!
Лоб твой чист, бури позади —
Радостный, радостный пред тобою рай!

ГОЛОВА СВЯТОГО ДЕНИСА

Весна, весна
над собором Богородицы!
Над порталом распустилась большая роза.

Весна, весна
на коленях перед Господом
в криках ласточек!
Над порталом святой Денис со своей головой в руках.

Гляньте: чудо!
в каменных кудрях —
птичье гнездышко;
Над ним ласточки, как легкие думы.

Хвала Господу,
Господу Живущему!
Наш весенний святой лелеет ласточек.

КОРОЛЬ КЛАВДИЙ

Черный лес, черный сад.
Я еду с охоты, черный и злой,
а там, за спиной, — золотой закат.

Так всегда, брат, убивший брата.
А всему виною — ты, королева.
Взойдем на башню, посмотрим на море.

У берега лодка, из лодки выходит Гамлет.
Он сумасшедший или просто устал?
Сойдем, Гертруда, заглянем ему в душу.
В лестнице шестьсот ступеней.

С каждой смертью солнце все ниже.
Крысы из нор смотрят на луну.
Оботри ему лоб, Гертруда: мальчик простудится.

Он увидит: я буду сидеть спокойно,
ему понравится такой конец.
Спасибо, государыня: я пью до дна!

ГАМЛЕТ

Гамлет,
наскучив чужим безумьем,
объехал мир
и видит при лунном свете,
что он не покидал Эльсинора.
Гамлет объехал мир, в уме он объехал мир.

Гамлет
у стены, обращенной к Риму,
слушает соловья,
и прах двенадцати цезарей
блестит ему из камней.
Гамлет объехал мир, в уме он объехал мир.

Гамлет
три раза обходит замок —
вот и весь мир!
А луна — это бедный Йорик,
безмозглая голова.
Гамлет объехал мир, в уме он объехал мир.

Башня
бросила тень на террасу,
по террасе гуляет призрак.
— Ах, отец,
давай путешествовать вместе:
чтобы тебя найти, я трижды объехал мир!

ФОРТИНБРАС

Я, Фортинбрас,
кого ждали так долго,
выхожу на миг
для последних слов.

Я один
заключаю драму,
мои войска
полегли за сценой.

Синий плащ мой
тяжел от крови.
Занавес рушится
на трубный звук.

Раз, два, три —
Эльсинор разобран.
Мы с Шекспиром
уходим за кулисы.

ЛОНДОНСКАЯ БАШНЯ

Это так —
граф Варвик погиб:
наконец-то, наконец-то погиб!
Но, увы — жив
старый Генрих, старый Шестой —
выжил из ума,
но жив.

На блеклый лоб
падает седина,
он откидывает ее вновь и вновь,
и слюни текут из губ.

Он сидит
в Тауэре над рекой,
он в тюрьме,
крысы и мыши кишат вокруг,
но они не тронут его —
он так бледен, что нагоняет страх.

Он как лунный луч
из решетчатого окна,
за которым звездная рябь.
И ему не вернуться ввысь,
потому что большой паук
переткал ему дорогу назад.

Призраки — не для крыс,
лунные лучи — не для мышей.

Кругом темно, и нечем дышать —
а король все жив.
Ни еды ему, ни воды —
а король все жив.
И понадобится добрый Ричард Глостер,
чтобы вдруг испустил он дух, —
разумеется, только от меланхолии.

ШАРЛЬ ОРЛЕАНСКИЙ В ЛОНДОНСКОЙ БАШНЕ

В целом мире нет места краше, чем графство Блуа, над которым Шарль.

В черной башне над мутной Темзой он плачет песней о своей Луаре.

Английской ночью он плачет песней о ясных звездах над милым Блуа.

Невольник слова, он плачет, спящий, и сны его — по-французски.

Вспоминает Францию, города и сельщину, двор и замок.

А тюремщик лязгает, крыса пробегает по полу, звонят к английской заутрене.

Слабо слово, сдавлено слово, и все-таки сон поет.

О любви, о юности, о былом, не о будущем, пленник памяти, тоскует Шарль.

ГОРЕ

Ласточка летит. Вечер.
За ласточкой летит ястреб.
Над зыбким прудом — месяц,
На месяце две тени.

А камышам нет дела:
Жизнь там или смерть в небе?
Небеса кричат горем,
А вода едва дрогнет.

МОРСКОЕ ПРОЩАНИЕ

На суше — люди и люди.
Как нам найти друг друга?
А впереди — море,
А в море — острова.

Ты говоришь: ты ждешь
Меня на тех островах?
Ах, не смейся:
Разлука — это ведь больно.

Я отплываю в море,
От меня отплывает берег,
Отплываешь ты.

Ты на берегу — как точка.
И уже ничего не видно.
И все.

МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

Маленькая жизнь
и большое море.
Ты меня любишь,
а я матрос.
А в море буря,
а в море тишь:
надо плыть.

Маленькая жизнь
и большое море.
Тебе так страшно,
ты очень меня любишь.
Кабы ты бы любила
большое море,
ты сказала бы тоже:
надо плыть.

Мне плыть
на смерть,
а тебе —
на мою любовь.

Маленькая жизнь
        и большое море —
понимаешь, милая,
        надо плыть.

Буря и тишь,
        причал и отчал,
черная скала
        и морская пасть,
кораблю не выплыть,
        а надо плыть.

А ты меня любишь и будешь ждать.
А там придет другая любовь.

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

Это перевод заказной и поэтому точный. Для Эзры Паунда «Оммаж Househ Сексту Проперцию» был упражнением в академическом авангардизме. Здесь четыре стилистических слоя: мотивы римских любовных элегий; косноязычный прозаизм учебных английских подстрочников; эпатирующие вульгаризмы авангардной поэтики; и сквозь них серьезное, даже подвижническое стремление встроить античную классику в небывалый синтетический grand art XX века, на сотворение которого он положил всю жизнь. Комментировать античные имена и реалии этого сочинения было бы слишком долго; я прошу читателя поверить, что все они употреблены Паундом безукоризненно. Только во всеядном верлибре, изломанном на разный лад, мог такой проект рассчитывать на успех. Когда этот перевод печатался в журнале, эту изломанность в нем ликвидировали: каждая строка была набрана как сверхкороткий абзац — вроде прозы Дорошевича или Шкловского. Текст сразу стал казаться гораздо бессодержательнее, чем он есть: видимо, читательская установка на прозу автоматически заставляет ждать чего-то гораздо более умного, чем в стихах. Вот что значит графический облик текста.

Или это я сам тебя сглазил бесконечными комплиментами?
Вот и приходит в стольких бедах замкнуть бурную жизнь
Кроткий час последнего дня.

Ио мыкалась, мыча, много лет,
А теперь, как богиня, пьет из Нила.
Ино, чокнутая, бежала из Фив.
Андромеда брошена была чудищу, но чин чином вышла за Персея.
Каллисто в медвежьей шкуре бродила по аркадским выгонам,
А на звездах ее был черный покров.
И когда подойдут твои сроки, подступит твой час покоя,
Вдруг самой тебе станет смерть в угоду,

И ты скажешь: «Рок мой тот же,
Чудно тот же, что у Семелы»,
И поверишь, и она поверит по опыту,
И средь всех меонийских красавиц в славе слова
Ни одна не воссядет выше, ни одна не оспорит твое первенство.

Вот теперь сноси свою долю бестрепетно,
Или злой Юпитер оттянет твой смертный день —
Чтоб Юнона не почуяла. Старый блудень!
Или, может, явись моя молоденькая —
И самой Юноне каюк?

Так ли, сяк ли, а быть заварушке на Олимпе.

IX

1

Смолк аккомпанемент на цитрах;
Жженый лавр валялся в золе;
Месяц все еще силился сойти с неба, —

Но все слышалось совье зловещее «угу».

На одном челне, паруса в лазурь,
Наши судьбы плывут по мглистому Аверну.
Мои слезы — за нас двоих.
Если выживет она — буду жить,
А умрет — отойду ей вслед.
Зевс могучий, помилуй ее, не то
Она сядет под покрывалом у ног твоих
И начнет перечислять свои беды.

2

Персефона и Дит, Дит, смилуйтесь!
Ведь и так в аду достаточно женщин,
И красавиц больше, чем достаточно:
Пасифая, Тиро, Иопа, полноценные ахеянки,
И из Трои, и из Кампании, —
Смерть на всех точит зуб, Аверн зарится на всех;
Красота кратка, и богатство минет;
Скорая ли, нет ли, а смерть медлит лишь до поры.

3

Светик мой, свет очей моих,
Ты избегнула великой опасности,
Так вернись же к пляскам Дианы и воздай подобающие дары:
Заплати по обету ночными бдениями Диане, богине дев,
И меня не оставь без платы:
Ты мне обещала десять ночей вдвоем.

X

Светик мой, свет очей моих, поздно-поздно ночью
Я бродил пьяный, ни раба под рукой,
Как вдруг выбежала мне навстречу группка маленьких мальчиков;
Я не знал их,
Я боялся их численного превосходства,
А из них одни были с факелами, другие с луками,
Остальные стали меня вязать, и все были голые,
А один предавался сладострастию.

«Распаленная женщина отдала его нам в угоду», —
Так сказал он, — и петлю мне на шею.
А другой: «Свинец ему в глотку! Гони его, гони!»
Третий перебил: «Он не чтит нас за богов!» —
«Где он был, когда она ждала того мерзавца
В новом сидонском колпаке, со сверхаравийскими духами?
У нее едва глядели глаза —
Запишите это за счет его! Прочь!»

Мы уже подходили к ее дому,
И они еще раз рванули меня за плащ.
Было утро, и я хотел посмотреть, одна ли она у себя,
И она была одна и в постели.
Я опешил.

Никогда не была Кинфия так хороша —
        Ни даже в пурпурной тунике.
Такова она явилась мне, чуть очнувшемуся, —
Ты заметишь: в чистой форме есть ценность.

«Ранний ты дозорщик любовницам!
И ты думаешь, твои привычки — по мне?»
        Постель — без признака сладострастной встречи,
        Без следов второго лежателя.

А она продолжала:
        «Ни один инкуб на меня не налегал,
        Хотя духи и ославлены блудом.
        А сегодня мне нужно во храм Весты...»
                                        и так далее.

С тех пор не было мне сладких ночей.

XI

1

Злые дела твоего легкомыслия! Много их, много.
Я повис здесь пугалом для любовников.

2

Бежать? Идиот! Бежать некуда.
        Если хочешь — беги в Ранавс, — и желанье тебе вослед,
Хоть ты вздыбься на позолоченном Пегасе,
Хоть имей пернатые Персеевы сандалии,
Чтоб разрезать воздух и взмыть, —
На больших Гермесовых тропах нет тебе убежища.

Над тобой — Амор: Любовь — гонитель любящих, вес на вольной шее.
Ты бежишь из наших глаз — не из города,
Ты способна лишь к пустым на меня умыслам,
Ты лениво растягиваешь сеть, уже привычную мне.

Но опять новый слух поражает мне слух.
Слухи о тебе — по всему городу, и ни единого доброго.

«Злым языкам не верь.
        Красота мишень клевете.
Это пробовано всеми красавицами».

«Твою славу не испятнает яд».
«Феб свидетель, твои руки чисты».

Чужеземный любовник сокрушил Еленино царство,
А она, живая, приведена домой;
Кифереянка пала от Марсовой похоти,
Но царит в высокочтимых небесах...

Ах, довольно, клянусь росистыми гротами, —
Этих Муз на мшистых кряжах, на скатах скал,
Этих хитрых любовностей Зевса в оны дни,
И жженых Семел, и блуждающей Ио.
О, как мчалась птица от троянских гребцов,
И как Ида спала с пастухом между овцами.

Все равно бежать некуда,
Ни к Гирканскому взморью, ни на поиск Эойских прибрежий.

Все простится за одну лишь ночь твоих игр —
А ты идешь по Священной дороге с павлиньим хвостом вместо веера.

XII

Кто же, кто же еще найдется, чтоб доверить другу подругу?
Любовь пересекается с верностью.
Даже боги ведь позорили родичей.
Каждый хочет яблока себе одному.
Люди милые и согласные невоздержностью втягиваются в поединки.
На правах гостеприимства пришел к Менелаю троянец и прелюбодей.
А еще была Колхида, и Ясон, и та колхидянка,
И вообще, Линкей, ты был пьян.

Как ты вынес такую неразборчивость?
Да, она не страдала верностью.
Но проткнуть мечом себе брюхо, но издохнуть, глотнув травы,
Было бы, мой мальчик, предпочтительнее, —
Мой Линкей, напарник жизни, сердца, монет,
Только не постели, только не постели. Здесь мне не надо
Ни твоей, ни Юпитеровой помощи.

А ты еще пишешь про Гераклов бой с Ахелоем,
Про коней Адраста, про игры по Ахенору,
И никак не бросишь копировать Эсхила, —
Ты окрошка из Антимаха, а думаешь, что Гомер.

А девчонке нет дела до богов —
Ни одна из них не ищет начал Вселенной,
Ни расписания лунных затмений,
Ни останется ли что-то от нас,
Когда мы переедем зыби ада,
Ни о предопределеньи громов,
Ни еще о чем-нибудь важном.

На Актийских болотах Вергилий — главный полицеймейстер Феба.
Он пишет перечень Цезаревым кораблям,
Он дрожит по Илионским браням,
Потрясает троянским клинком Энея
И бросает полчища на Лавинийские берега.
Прочь с дороги, римские авторы, потеснитесь, греки,
Ибо в работе нечто побольше Илиады
(И притом по монаршему указу).
Потеснитесь, греки!

А ты тянешься за ним «в сень фригийских сосен:
Тирсис и Дафнис с долблеными тростниками,
И как десять соблазнов портят девушек —
За козленка, за доеное вымя, за дешевые яблоки
Они рады продать свою бедную любовь.

Тирсис, верно, пел таких же стерв,
Коридон искушал Алексида,
И селяне, лежа в жите после этого, усталые,
Слышали хвалу от кротких гамадриад».
Ну, давай же по Аскрейским прописям, старинным, почтенным,
вордсвортовским:
«Плоскому полю — колосья, холмам — виноградные лозы».

Посмотри на меня, я не богат,
Я не генеральского рода,
Триумфы мои — меж девиц неопределенного свойства,
Мой талант прославлен у них в застольях,
Мне подносят вчерашние венки,
И бог разит меня замертво.

Как ученая дрессированная черепаха,
Я бы делал стихи в твоем духе, но лишь по ее приказу,
Когда муж ее будет взывать о смягчении приговора, —
И даже этот позор не привлечет обильных читателей
Ни ученою, ни усильною страстью,

Потому что с высот благородства не текут ручьи.
Нужен отзвук, отзвук и звучность... как у гуся.

Варрон, страстный в любви к Левкадии,
Пел Ясоново плаванье, —
Это — песнь для пергамента! Похабник Катулл —
О Лесбии, знаменитой громче Елены;
И на крашеных страницах Кальва
        Кальв оплакивает Квинтилию;
И вот только что Галл воспел Ликориду —
        Ах, прекрасная Ликорида! —
И загробные воды омыли его рану.
А теперь певец Кинфии, Проперций, становится с ними в ряд.

БАЛЛАДЫ
1

Эти стихи в переводе сокращены больше, чем какие-нибудь другие. Я плохо знаю греческий язык, и Кавафиса читал только с помощью параллельных переводов. Они не могли передать главного во всяком поэте — языка. Где Кавафис архаичен, где прозаичен, где торжествен, где сух, и, главное, зачем, — я не знаю. Поэтому он всегда казался мне докучно многословным. Он походил на нашего Случевского — безъязычного русского Бодлера, поэта, который чувствовал мир, как человек XX века, но был обречен говорить о нем громоздким и неприспособленным языком XIX века. Ни Случевский, ни, тем более, смутно расслышанный Кавафис в этом не виноваты: виновата смена вкуса, от риторики обилия — к риторике сжатости. Здесь только стихотворения на античные темы: чисто лирические стихи Кавафиса моему чувству недоступны. Стихи расположены в приблизительной исторической последовательности. О Демарате можно прочитать у Геродота, о риторе Героде Аттике у Филострата, о Либании у Либания; поэт Мелеагр — эпиграмматист из евангельской Гадары, а поэт Ламон выдуман. Деметрий — это Деметрий Полиоркет, царь без царства; Феодот — тот, который побудил последнего Птолемея зарезать бежавшего в Александрию Помпея в угоду Цезарю; Артемидор — тот, который в день убийства Цезаря подал ему письмо о заговоре против него.

Константин Кавафис

МОЛИТВА

Утонул моряк, а мать и не знает,
И свечу пред Господом теплит,
И всепонимающими глазами
Смотрит на нее Богоматерь.

ФЕРМОПИЛЫ

Счастлив, кто стережет Фермопилы духа:
Помнит долг,
Справедлив и милостив,
Щедр в богатстве, щедр в бедности,
Сам не лжет, но прощает лгущих
И знает,
Что уже за спиною его — враги.

ИЗМЕНА

На брачном пиру
Пелея и Фетиды
Пел им Аполлон
О грядущем их сыне, о его
Светлом детстве, бранной славе, бесскорбной старости.

Ахилл погиб,
И Фетида билась в неистовстве,
А потом спросила:
«Где же был Аполлон?» —
И услышала: это он и грянул
В грудь Ахилла золотою стрелой.
Почему?

ТРОЯ

Мы как в Трое:
Окрыляемся малейшей удачею,
А потом Ахилл
Грянет криком — и мы трепещем.

Мы как в Трое:
Полагаемся на доблесть и смелость,
Но ударит рок —
И бежим мимо стен, как давний Гектор.

А со стен
Уж оплакивают нас Приам и Гекуба.

ИТАКА

Когда встанет время отплыть в Итаку —
Помолись, чтоб долгим был путь,
И он будет мирным —
Потому что киклоп, лестригоны, Скилла
Не в морях, а в твоей душе.
Долгий путь,
Светлые заводи феаков,
Щедрые причалы финикиян,
Мудрые беседы египтян,
А Итака — вдали,
Ждущая тебя старцем,
Просветленным, умудренным, богатым,
Ибо лишь для нее,
Каменистой, убогой, скудной,
Ты поплыл стать таким, как стал.

ДЕМАРАТ

Демарат, спартанский изгнанный царь,
Живет советником при Дарии и при Ксерксе,
Готовит их войско для похода на Грецию,
Чтобы вернуть себе трон,
И молча знает,
Что победа останется за греками.

Эту тему придумал софист Порфирий
Для очередной декламации.

ЭСХИЛ («Сидонские юноши»)

Он велел написать на своей могиле:
«Я, Эсхил, славно бился при Марафоне».
Он хотел, чтоб читающие воскликнули:
«Но его трагедии еще славней!»

АРТАКСЕРКС («Сатрапия»)

Горько изнемочь
И прийти к Артаксерксу в Сузы,
И просить, и получить все просимое,
Потому что нужны тебе не сатрапии,
А лишь слово в похвалу твоему слову.

ЛАКЕДЕМОНЯНЕ («Год 200 до Р. Х.»)

«Александр, сын Филиппа, со всеми эллинами, кроме лакедемонян» —
Сказано в надписи.

Это правда:
Лакедемонян не было —
Никогда, ни с кем, ни за кем.
Это без них
Были Граник; Исс, Арбела, Индия,
Это без них
Маленькая Греция стала миром.
Мы ее наследники —
Александрийцы, антиохийцы, бактрийцы —
Александра, сына Филиппа, со всеми эллинами.
Кроме лакедемонян.

ДЕМЕТРИЙ

Македонцы предпочли Деметрию Пирра.
Деметрий снял златотканый плащ,
Надел темный
И ушел, как актер, сыгравший зрелище.
А народ обиделся: «не по-царски!»

ФИЛЭЛЛИН

Сделай лицо величественным,
Диадему на греческий лад,
На обороте какой-нибудь дискобол,
Надпись без напыщенности,
И обязательно причекань: «Филэллин».
Нечего смеяться,
Что от нас до них и горы и реки:
Так ведь пишут и те, кто подальше нас,
А захожие софисты бывают всюду.

ГЕРОД АТТИК

Александр Селевкийский пришел в Афины,
А в городе никого:
Все ушли послушать Герода Аттика.
Александр ему пишет: «пусти хоть сотню»,
А Герод: «я вернусь, и со мной афиняне».
Много молодых
В Александрии, Антиохии, Бейруте
Говоря в застольях о любви и мудрости,
Замирают на полуслове,
Вспомнив Герода Аттика,
Потому что куда он, туда и все.

БЕЗЫМЯННЫЙ («Вот он»)

Человек из Эдессы сидит в Антиохии
И пишет, пишет: песнь восемьдесят третья.
Все давно опротивело. Одна надежда:
Лукиану приснилось: «Смотрите, вот он!» —
А он это услышит наяву.

ФЕОДОТ

Если ты велик, победен и славен,
Вспомни: все равно
Дрогнет сердце, когда в Александрии
На кровавом блюде
Феодот
Поднесет тебе голову Помпея.

Если ты смиренен и мал,
Вспомни: все равно
Феодот
Уже, может быть, стучится в дверь соседа.

ЦЕЗАРЬ («Иды марта»)

На пути ввысь
Осторожней ставь ногу,
Ибо на вершине
Ждет тебя Артемидор с предупреждением,
Которого ты не успеешь прочитать.

АЛЕКСАНДРИЯ («Александрийские цари»)

Трое сыновей Клеопатры
Явятся народу в гимнасии —
Александр,
Царь парфян, армян и мидийцев,
Птолемей —
Финикийский, киликийский, сирийский,
И Цезарион, царь царей,
В розовом шелку, в аметистах
И сапфирах, в жемчугах и венке.
Все это — звук пустой,
Но под синим небом
Почему бы не прокричать им славу
По-еврейски, по-коптски и по-гречески?

АНТОНИЙ («Дионис покидает Антония»)

Ночью,
Слыша музыку и пение в темноте
Уходящей от тебя Александрии,
Радуйся,
Что она почтила тебя собой,
И, давно готовый,
Вслушивайся,
Прощайся
И не думай, что это сон.

ЮЛИАН («Ты не познал»)

Юлиан сказал о Христовых книгах:
«Прочитал, познал, не признал».
Твой Сократ тебе ответил бы:
«Не признал — значит, плохо познал».

ЮЛИАН, ПОСВЯЩАЕМЫЙ В ТАИНСТВА

Вдруг
Темнота подземелья просияла
Несказанными бесплотными ликами —
Дрогнул Юлиан и невольно по детской привычке
Перекрестился.

Все пропало, и вновь настала тьма.

Он сказал:
«Мне страшно:
Эти светлые исчезли от ужаса
Пред крестом».

Но посвящающие ответили: «Нет:
Они исчезли
Из презренья к твоему малодушию».

СИМЕОН

Да, я знаю эти стихи и прозу —
Получше Либания, похуже Мелеагра —
Но сейчас мне не до них.
Я случайно
Проходил мимо Симеонова столпа.
Христиане толпились, молились, млели,
А я вздрогнул: нас
Еще не было на свете, а он

И стоял и стоит тридцать пять лет
На столпе, чтобы ближе слышать Бога.

Но из поэтов я больше люблю Ламона.

ПОСИДОНИЯ

В городе Посидонии
У Тирренского моря
Жили древние греки,
Но потом смешались с тирренами,
Забыли обычаи и язык
И лишь раз в году
Собирались на греческий праздник,
Садились в круг,
Вспоминали слова, кто какие знал,
Горько плакали,
А потом расходились по домам.
Так об этом сказано у Афинея.

В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ

— Отчего народ в перепуге?
— Идут варвары, скоро будут здесь.
— Отчего сенаторы не у дела?
— Идут варвары, их и будет власть.
— Отчего император застыл на троне?
— Идут варвары, он воздаст им честь.
— Отчего вся знать в золоте и каменьях?
— Идут варвары, они любят блеск.
— Отчего ораторы онемели?
— Идут варвары, они не любят слов.
— Отчего не работают водопроводы?
— Идут варвары, спрашивайте их.
— Отчего все кричат и разбегаются?
— Весть с границы: варвары не пришли,
Варваров вовсе и не было.
Что теперь будет?
С варварами была хоть какая-то ясность.

ПРЕДСТОЯЩЕЕ

У Аполлония Тианского сказано:
Боги знают грядущее,
Люди настоящее,
А мудрецы предстоящее —
То, что на пороге, всего страшней.

БАЛЛАДЫ
2

Книжка Збигнева Херберта, из которой переведены эти стихи, называлась «Пан Когито» (cogito: «мыслю, следовательно существую»): «чуть глуповатый, сильно озадаченный и всегда искренний», говорилось на обложке о ее герое. Я переводил эти стихи, заглядывая в английский перевод; при нем был отзыв Бродского: «Херберт, хоть и поляк, но не романтик: он не накаляет температуру стихов, а понижает, пока они не начинают обжигать восприятие читателя, как железная изгородь на морозе». Я тоже не романтик, глуповат и озадачен, поэтому стихи мне понравились. Переводил я их для собственного удовольствия, то есть с конспективными сокращениями, помеченными на полях. Два мифологических стихотворения были в сборнике напечатаны как проза, но я их тоже разбил на верлибры.

Збигнев Херберт

ПАН КОГИТО СМОТРИТСЯ В ЗЕРКАЛО 20/28

Кто выделывал наши лица? Кто
постническую душу
заслонил обжорливым подбородком?
Это он, а не я сдвигал глаза
из кустов, выслеживая пришельцев,
и топырил уши, ловя далекий
топот мамонтов по степям.
Низкий лоб, мало мыслей: женщины,
золото, земля, князь за всех,
не давай себя сбить с коня, —
и сквозь ветер, сквозь стены, с криком
в пустоту, они рухнули в меня.

Я румянил и пудрил себя салонностью,
подпускал в глаза зеленого веронеза,
чистил уши Моцартами, а ноздри
ароматом старых книг, но опять
вижу в унаследованном лице
средневековые грехи, древнекаменные страхи,
яблоко от яблони недалеко —

я побит в поединке с своим лицом.

ПАН КОГИТО И ЕГО БЕЗДНА 11/39

Дома все хорошо, а за дверью — бездна.
Не Паскаля, не Достоевского, а своя.
Не бескрайняя, не ужасная, зато рядом —
(как пес, как сыпь на коже) —
у прилавка в булочной, за газетой в кафе.
Она узенькая, ноги не просунуть,
но ведь вырастет, и тогда будет худо.
А пока ее можно засыпать горстью песка,
но пан Когито этого не делает.
Возвращаясь домой, он бережно
укрывает ее ковриком у порога.

ПАН КОГИТО И ЕГО МЫСЛИ 11/28

Говорят: шевельнулась мысль, —
но это преувеличение.

Мысли не шевелятся.
Они неподвижны,
как деревья в сером пейзаже,
как одноногие цапли на пустом берегу
мыслей, но чужих.

Неподвижны, потому что идти им некуда.

И они сидят на камнях и ломают руки
под тусклым небом
черепной коробки.

ПАН КОГИТО ВИДИТ СНЫ 12/19

Сны мельчают. Деду и бабке снились
мраморные лестницы, пурпур, факелы,
сердце птицей, в руке серебряный меч,
а на лицах маска первой любви.
Им гремел пророк Исайя из клубов дыма,
ужас был, как татарское нашествие,
счастье было, как дождь золотой.

А мне снится: я бреюсь перед зеркалом,
вдруг звонок, счет за газ, а я без денег,
и я вижу себя в зеркале и с криком вскакиваю.

Ах, приснился бы мне красный палач,
чтоб вздохнуть с облегчением.

ПАН КОГИТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ МИФОЛОГИЮ

Царевич Минотавр,
законный сын царя Миноса,
рос с большой головой дебила.

Модный мастер Дедал,
изобретший архитектурную педагогику,
выстроил ему лабиринт —
коридоры индукций и дедукций,
лестницы абстракций,
от простого к сложному на всех уровнях —

Минотавр ничего не понимал.

Чтоб избавиться от такого позора,
Минос выписал киллера Тесея,
и тот сделал свое нужное дело.

И тогда у головы Минотавра
в выпученных глазах
вспыхнул ум —
порождение жизненного опыта.

Так рассказано в надписи линейным шрифтом А,
до сих пор не расшифрованным.

ПАН КОГИТО ЕЩЕ РАЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ МИФОЛОГИЮ

Прометей
пишет мемуары
о месте героя в системе необходимостей,
и как согласовать экзистенцию и судьбу.

В печке огонь, в кухне жена,
к ужину придут священник и доктор.

На стене чучело орла и письмо
с благодарностью от кавказского тирана,
огнем
выжегшего взбунтовавшийся город.

Прометей улыбается:
этот мир ему не нравится, но что делать?

ПАН КОГИТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕБЕ ИСТОРИЮ

18/30

Калигула говорит:

Я любил моего коня-сенатора.
Он сиял незапятнанною попоной меж сенатской сволочи.

Он не говорил речей, был душою стоик
и, наверно, ночью в стойле читал философов.

Я хотел женить его на моей Цезонии,
чтобы вывести цезарей-кентавров,
но не вышло: оттого Рим и пал.

Я любил его так, что хотел распять,
но мешало его благородное телосложение.

Я хотел объявить его божеством,
но десяток дураков с мечами были против.

Он спокойно принял весть, что я умер,
он с достоинством претерпел изгнание
и скончался бездетным на бойне в Анции.

О посмертной судьбе его конины
история умалчивает.

ПАН КОГИТО РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ИСКУШЕНИЕ СПИНОЗЫ 36/65

Барух Спиноза из Амстердама,
шлифуя стеклышки, искал Бога.

Он увидел Бога и стал его расспрашивать
(и расширился его дух)
и о естестве человека
(Бог рассеянно поглаживал бороду),
и о первой причине
(Бог посматривал в бесконечность),
и о последней цели
(Бог покашливал и похрустывал пальцами),
а когда Спиноза умолк,
Бог сказал:

— Барух, ты хорошо говоришь,
и твоя геометрическая латынь мне нравится,
но давай-ка лучше
о самом главном.

Руки у тебя дрожат и в порезах,
глаза слезятся,
ты голодный, и кафтан твой в заплатах.
А ты купи себе новый дом,
не сердись на венецейские зеркала,
что они лишь отражают наружности,
не сердись на цветы, вино и песни,
будь расчетлив, как Декарт, и хитер, как Эразм,
посвяти трактат французскому Людовику
(он его все равно не прочтет),
успокой неистовство разума
(от него меркнут звезды и рушатся троны),
заведи жену, роди сына —
это, Барух, и есть самое главное.
Я хочу, чтоб меня любили
неуч и насильник,
потому что только им я и надобен.

Занавес упал, свет в выси погас,
Спиноза — один,
только слышен скрип вниз по лестнице.

ИНОГДА ПАН КОГИТО ПОЛУЧАЕТ СТРАННЫЕ ПИСЬМА

25/52

Госпожа NN из Дармштадта
просит помочь
найти прапрадедушку,
пропавшего на войне.

Имя Людвиг I, фамилии нет,
профессия — великий герцог,
замечен в последний раз
в имении Еленя Гура, в 44-м —

в раме, в мундире, в лосинах,
перед беседкой,
опершись на сломанную колонну,
небо в тучах и зарево на горизонте.

Пан Когито думает:

Интересно,
сохранил ли он гордый вид,
когда ноги его лизнуло пламя?

закричал ли, когда его тащили
через двор и грязь?

рухнул ли на колени,
когда целились
в угловатую звезду на груди?

Пан Когито беден воображением:
он не видит лица, лосин, мундира,
а лишь видит
небо в тучах и зарево на горизонте.

ПАН КОГИТО ИЩЕТ ПОДДЕРЖКИ

14/39

В толстых книгах   нет мне подмоги:
там миры и атомы,   но нет меня:

в великом знании   великая печаль.

И вот я бреду   в дедовский Брацлав
к черным подсолнухам   в субботний вечер,
когда распахивается   новое небо.

— Я ищу вас, равви —

Его здесь нет,   говорят хасиды,
он там, в шеоле,   он так прекрасен,
он бродит, черный,   из угла в угол
с пылающей торой   в костлявых пальцах.

— Я ищу вас, равви —   болит мое сердце —

Он помог бы мне,   равви Нахман,
но как найти его   в стольких пеплах?

ПАН КОГИТО РАЗМЫШЛЯЕТ О ПОСЛЕДНЕМ

В нижнем круге ада —
ни тиранов, ни матереубийц,
ни даже эпигонов.

Там художники,
зеркала, мольберты и лютни,
концерты, выставки,
что ни месяц, то новый авангард.

Сатана гордится искусством:
где сияет искусство, там сияет
и правительство.

Скоро будет фестиваль двух миров,
и посмотрим,
что останется там от Данта и Баха.

Сатана покровительствует искусству:
всем художникам — покой, стол и дом
и ни слова о т. наз. адских муках.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 1

Перевод из Рильке — заказной: «Иностранная литература» печатала серию разных переводов этого стихотворения размером подлинника и попросила сделать точный перевод верлибром в качестве общего знаменателя к ним. Такая практика мне понравилась, и я постарался преодолеть ради этого свое отношение к Рильке. Остальные стихи — отходы от занятий русским символизмом.

Леконт де Лиль

ВИЛАНЕЛЬ

Время, пространство, число
 С черного неба пали
В мертвое темное море.

Время, пространство, число
 Стерты безмолвным
 Саваном мрака.

В темное недвижное море
 Праздным грузом
 Канул разум.

 Канули в нем и с ним
Время, пространство, число,
 Память и надежда —
В темное недвижное море.

Сюлли-Прюдом

ТЕНЬ 7/14

Я иду, а она пластается,
Смотрит слепо, слушает глухо,
Как и я, частица той же ночи,
Вижу, не разумея, и вторю, не творя.

Я — тень ангела, ангел — отблеск Бога,
А за мною, в ином небытии,
Тень моей тени тянет свою тень.

Ш. Ван Лерберг

* 12/29

Вечер. Тени
Черными лебедями
С цветов, с камней, с наших плеч —
В воздух: тихо, плавно, гуще, гуще,
Скликаясь, сливаясь
В ночь.

Но заря
Встает во сне
Светлорусая, ясноглазая, с факелом,
Над волнами. Утро, и тени прячутся
В цветы, в камни,
В нас.

Э. Верхарн

ДЕРЕВО У ДОМА

10+7/88+84

Дерево стоит над полями.
Те, кто видели рост его, — в гробах.
Оно ведает тайну каждой тучи,
Оно рвется в будущее, как крик.
    В ветр, дождь, снег, град
Оно трудится меж землей и небом,
Осенью оно как пожар в синеве.
    Я касаюсь его ладонью,
Его сила льется в моей крови,
    И я сам — как ветвь.

Ибо чтобы жить, надо радоваться:
Вот цветы, на цветах роса,
Над цветами звенят густые пчелы,
    Они — как звезды,
И целуют нежно, как дождь.
Мотыльки овевают меня крылами,
    И я сам — как мир.

Ф. Вьеле-Гриффен

*

10/19

Добрые часы, ровные часы,
Нежные, бледные, туманные,
Как сестры, как инокини,
Улыбчиво смотрят
На прошлое, откуда мы встали:
Отстраненные, томные, опаловые, —
Словно молятся.

В их сени
Расплывается былое недоброе
И прозрачными становятся слезы.

*
9/20

Зелень, синь, лазурь,
Золотые звезды, луна в волнах,
Полночь, как мечта, и закат, как слава.
Мое сердце, ты такое маленькое,
Что смеешься от стыда, но ты — это ты,
И, рифмуя память о память,
Ты не хочешь
Красть в безмерном мире безмерный стих.

*
15/26

Вечер выцвел, как осенний цветок.
Что мы скажем ивам, холмам, заливам?
Свежий ветер губами коснулся лба.
Ночь нежна и душа тиха.
Что мы скажем ивам?

Ты весною мне цвел, как царь.
Мы не знали, что мы играли роли.
Смех угас. Берег, будущее, ночь.
Мы не знали?

Песни, сказки со счастливым концом:
«Я люблю, ты любишь, мы любим».
Сколько лет нам? Этот смех над собой.
Что мы скажем ивам, заливам?

В лунную мглу
Умирают наши сердца без боли.

НА СМЕРТЬ МАЛЛАРМЕ
16/21

Тебе скажут: Учитель!
День встает,
Светится заря на востоке,
И окно распахнуто в мир. —
Ты ответишь: Я сплю.

Тебе скажут: Учитель!
Вот — мы,
Как вчера, на твоем пороге,
Сильные, веселые, живые. —
Нам ответят: Он мертв.

Цветы, как страницы книги, —
Зачем?
Замирает песня, как падающий лист.
Нас мало.
Жизнь пред этим гробом — лишь стыд и гнев,
И слова, слова.

Стюарт Мерриль

* 27/72

Дождь, снег,
Я как мертв: я не слышу стука в двери.
Ночь, тишь,
Лоб в ладони, локти в колени.
Спит очаг,
Сер паук, выпрядающий забвенье.
Шаг в коврах,
Мрак в дверях и зияние зеркалами.
Не бьют часы,
Но тоска все темнее с каждым сроком.
Лишь мечта,
Зрячая в ночи, тревожит душу.
След любви
Стерся на пороге моих безумий.
Я забыл твои глаза и твой голос.
Бог с тобой.
Для тебя — и лазурь, и даль, и розы,
И в руке поцелуй.
А меня материнским поцелуем
Приласкает смерть.
В лживых масках заплуталась любовь.
Все забыто.
Опускается мрак
Без просвета, без прозвука.
Ангел у порога, глаза пустые:
Ни любви, ни ненависти.
Молчание.

Ж. Роденбах

* 7/12

Глушь, рассвет, колокольный звон.
У зари глаза, как у сестры.
Вкруг острых крыш
Росными лепестками кружатся звуки:
Медленные, бледные, холодные,
Отцветшие
Над мертвым челом веков.

* 13/25

Дождь:
Слезы вечера, слезы осени, слезы года —
Ночь:
Проплывают тучи под парусами,
Ворон каркает над трупами звезд —
Плач:
Плач утрат, плач усталых угрызений,
Дождь, как слезы из-под век мертвеца —
Дождь
Прошивает крылья былым мечтам,
Меркнет свет, молкнут звуки, это медленная
Смерть —
И душа обвисла, как флаг на палке.

* 11/20

Нежный вечер. Клубящиеся тени.
Нежный вечер, как ласковая смерть.
В смутном зеркале тонет прощальный жест.
На стенах картины — пейзажи сердца,
На картинах сеется серый пепел.
Нежный вечер, как струна под сурдиной.
На стенах ковры, на коврах узор,
По узору скользят глаза влюбленных.
Как узор сливается во мгле,
Так сливаются две души в единой
Тишине, аромате, бессловесности.

*

Траурные стены монастыря,
А над ними — Христос, раскинув руки,
Врос венок в висок,
Мертвым морем застыли очи,
И копье — как черенок для привоя.
А над ним, большими складками, ночь,
Звезды — гвозди, и в черном ее боку
Луна — как красная рана.

Сен-Поль Ру

ГОЛГОФА

Черное небо
Наседает задом на символ веры;
Треугольник копий — как змеиный язык.

Меж двух волчьих лиц
Свисший Агнец блеет прощенье миру,
Его кости скрипят, как немазаная ось.

Под холмом Иуда
Раскачнул свою тоску на сердобольном дереве.
Звезды мрут, чтобы не казаться сребренниками.

Гюстав Кан

*

Он пришел такой бледный, бледный,
    что сестрица моя подумала:
«Злая его любовь выпила его душу и кровь,
    и теперь он
Тень своих подошв, след своих шагов».

Он припал такой бледный, бледный,
    что сестрица моя подумала:
«Пурпур в мечтах, цветы в парусах, смех на устах —
    малая ему награда
За склоненный лик, за усталый миг».

Он ушел такой бледный, бледный,
        что сестрица моя подумала:
«В каком саду, в каком краю, в каком аду, в каком раю
        найдет\356н смерть
И вольнее, и больнее, и слаще?»

*

Осенние вечера, испуганные леса,
Хижина вся дрожит, часовенка вся в огнях,
Осенние вечера, подсвеченные луной.

Понурый конь устало ждет, когда придет его седок —
                боец в броне,
                чей меч — как вихрь
        в ночи усталых душ.

Дама Бертрада клонит лоб,
Молит о милом всех святых:
«Рыцарь, вернись, рыцарь, вернись!»
        А рыцаря нет.

И только безгубый смех
Слышится меж ветвей.

Камиль Моклер

ПАМЯТИ 6/16

Вот женщины уходят в сумерки,
Умирают голоса, выцветают памяти,
        Как листья.

Как бродяга на груде листьев,
Ты засни, душа моя, в этих памятях:
        Согрейся.

Эрнест Рейно

БРЮГГЕ 7/14

Крупинка Испании в растворе Фландрии,
Устье реки, забытое морем,

Слава гербов, рассыпавшихся в пепел,
С них слетает лебедь к твоим каналам, —

Под звон часов над сонными переулками
Ты никнешь
В мертвые воды под ивовою сенью...

Фернан Грег

МОЛИТВА 10/32

Боже мой вчерашний,
Потемневшее имя твое во тьме,
Выроненное на житейском моем пути, —
В сытый час, когда на лысый мой лоб ты веешь ласкою,
Я стремлюсь в тебя, дрожа, как светильник в ночь,
И как синее пламя в желтое.
Замирает в утробе бурчанье страсти,
И я рвусь в твой взгляд из зеркала бытия,
Чтобы сделаться алтарем твоему пламени,
Боже мой Неведомый.

Ален Боске

*

Пророков спросили:
— Умирают ли боги?
Пророки сказали:
— Откуда мы это знаем?
Их спросили:
— Этот мир бесконечен?
Они сказали:
— Нам это тоже интересно.
Их спросили:
— Тело — это форма души
или душа — это форма тела?
Они сказали:
— Мы тоже об этом спрашиваем.
Их спросили:
— Будет ли жизнь после смерти?
Они сказали:
— Мы надеемся, но мы не уверены.

Их спросили:
— Восполняет ли истина неистину?
Они сказали:
— Хорошо бы, если бы так.

И тогда пророков убили,
а вопросы, еще того страннее,
стали задавать
баобабу, рекам,
диким козам, красному камню,
летучему ветру,
и были рады
толковать по-своему
их большое-пребольшое молчание.

*

Два дивана:
на одном человек, на другом —
Бог. Между ними — книга,
она цвета плоти и крови.
Человек говорит потихоньку:
«Это я ее написал».
Бог в ответ ему шепотом:
«Это я ее диктовал».
Помолчали,
а потом книга говорит:
«Это я родила вас обоих,
человек и Бог,
одинаковые и очень непослушные».
Раскрывается и вбирает их в себя.
Два дивана стоят пустые.

Р. М. Рильке

О ФОНТАНАХ

Иногда
я воистину их знал, водометы,
непостижно стеклянные деревья.
Они были — как будто мои слезы,
в исполинских снах
вмиг пролитые и потом забытые.

Так забыть ли мне,
как небесные тянутся ладони
в гущу стольких теснящихся вещей?
Я ль не видел безмерного величия
старых парков, вставших навстречу нежным
полным ожидания вечерам,
или бледных песен, вставших из уст
дальних дев и перелившихся через
край напева, и ставших явью,
словно чтобы отразиться в открытом
зеркале прудов?

Но лишь вспомню я обо всем,
что постигло фонтаны и меня, —
и я чувствую в струях вновь и вновь
тяготу паденья.
Я вас знаю, ветки в отклоне,
голоса-огоньки,
и пруды, повторявшие лишь берег
сдвинуто и бледно,
и вечерние небеса, которые
отшатнулись, выгнувшись и темнея,
от обугленных закатом лесов,
словно не об этом мире они мечтали...

Так забыть ли, что звезда звезде как камень,
каждая замкнувшись от ближних
сфер? что все миры лишь сквозь плач
узнают друг друга? Быть может,
для кого-то мы сами — в небесах,
и они на нас смотрят вечерами,
и поэты их поют нас. Быть может,
к нам несутся мольбы или проклятья,
но не долетают до нас,
ближних Бога, мнимого в наших высях,
в ком их вера, в ком их потеря,
о котором их одинокий плач,
и чей образ, как отблеск ищущих
их лампад, мимолетным веет светом
по разрозненным нашим лицам...

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ 2

Здесь конспективных переводов нет, и контрастов размеру подлинника — мало: по большей части это перевод верлибров верлибрами. Когда я сдал большой заказ на Э. Майстера, то стал осторожно интересоваться, почему этого лютого мизантропа поручили именно мне. Один сказал: «потому что он очень похож на вас», другой: «потому что он очень непохож на вас». Не знаю, достаточно ли этого, чтобы считать перевод экспериментом.

Т. С. Элиот

Первый хор из «Убийства в соборе»

— Встанем здесь, встанем перед собором. Здесь нам ждать.
Беда ли нас гонит? прибежище ли тянет наш шаг
К соборным стенам? Но какая еще беда
Для нас, для бедных, бедных женщин из Кентербери? Давно
Все несчастья нами изведаны. Нет над нами беды
И нет нам в соборе прибежища. Но есть предчувствие: быть
Деянию, а нам быть свидетелями при нем. Оно
Гонит наш шаг к собору. Свидетельство наше — за нами.

С тех пор, как золотой октябрь выцвел в мрачный ноябрь,
И яблоки собраны и убраны, и земля —
как бурые прорези смерти сквозь пустошь грязи и воды, —
Новогодье ждет: ждет, дышит и шепчет в потемках.
Покуда мужик сваливает с ног грязные сапоги и тянет руки к огню, —
Новогодье ждет, ждет судьба: того, что наступит.
Кто в Вечер Всех Святых протянул свои руки к огню
И вспомнил святых и мучеников, которые ждут? Кто протянет
Руки свои к огню и отречется от Господа? Кто обогреется
У огня и отречется от Господа?

Семь лет и еще одно лето прошло,
Семь лет, как покинул нас архипастырь,
Кроткий и добрый к своему люду;
Но если он воротится, это будет не к добру.
Властвует король, властвуют князья,
Разный над нами гнет,
И все же мы оставлены самим себе
И рады, когда мы одни.
Мы стараемся, чтобы в домах был лад,
А купец, сторожкий и хитрый, старается нажить хоть малость добра,
А мужик гнется над своей землей, и лицо его как земля,
И он рад, когда его не видят.

Я боюсь, что четыре тихие времени взбушуют:
Придет зима, и с моря настанет смерть,
Пустошительница весна стукнется у дверей,
Ее корни и побеги выедят нас насквозь,
Гибельное лето выжжет ложе наших рек,
И бедняк будет ждать нового гнилого октября.
Разве станет лето нам утешением
От осенних огней и от дымных зим?

Что нам делать в летнем жару,
Как не ждать в пустых садах нового октября?
Неведомый надвигается мор. А мы ждем, мы ждем,
И святые и мученики ждут, ждут новых мучеников и святых,
И судьба ждет в Божьей руке, дающая облик безликому.
В солнечной стреле видела я сама:
Ждет судьба в Божьей руке, а не в руках владык,
Которые числят и рассчитывают, иные к лучшему, а иные к худшему,
И у каждого своя цель, но все они ложатся в круги времени.

Приходи же, добрый декабрь! Кто тебя встретит и приветит?
Вновь на соломе в убогом доме родится ли Сын Человеческий?
Бедняки мы, деяния — не для нас;
Нам — только ждать и свидетельствовать.

Второй хор из «Убийства в соборе»

— Это не град постоянный, это не надежный привал!
Горький ветер, горькое время, неверная прибыль, верная беда.
Поздно, поздно, поздно, поздно: кончилось время, выгнил год.
Злобен ветер, яростно море, в небе темно, темно, темно.
Вернись, Томас, вернись, архипастырь, вернись во Францию, вернись.
Вернись скорее, вернись спокойно, а нас оставь спокойно умереть.
Ты идешь в приветах, ты идешь в ликованьях,
но ты несешь в Кентербери смерть:
Рок над домом, рок над тобою, рок над миром.

Мы не хотим событий.
Семь лет мы жили спокойно.
Мы старались, и нас не замечали.
Жили, и жили вполжизни.
Был гнет и было раздолье,
Были нищета и своеволье,
Была мелкая неправда,
Но мы продолжали жить,
Жили, и жили вполжизни.
Бывали неурожаи,
Бывали добрые жатвы,
Случался дождливый год,
Случался засушливый год.
То было много яблок,
То было мало слив,
Но мы продолжали жить,
Жили, и жили вполжизни.

Угощались, ходили к обедне,
Варили пиво и брагу,
Собирали на зиму хворост,
Толковали у очага,
Толковали на перекрестках,
Толковали, и даже не шепотом,
Жили, и жили вполжизни.
Рождались, женились, умирали,
Видели разные соблазны,
Терпели от поборов,
Сплетничали, смеялись.
Несколько девушек исчезли,
А другие этого не сумели.
У каждого были свои страхи, как тени,
Маленькие, тайные страхи.

Но теперь в нас великий страх, и не в каждом, а сразу во всех:
Страх, как рожденье и смерть, если видеть рожденье и смерть
Вне всего, в пустоте. В нас страх,
Которого не узнать, которого не выстоять, которого не понять.
Сердца наши из нас вырваны, мозг ободран, как луковица,
души тонут и тонут
В конечном страхе, которого не понять. Ах, Томас, архиепископ,
Томас, владыка, оставь нас, оставь нам наше убожество и пакость,
оставь нас, не требуй
Выстоять рок над домом, рок над тобою, рок над миром.
Архипастырь, ты тверд, ты уверен в судьбе, не боишься теней:
ты знаешь ли, чего требуешь, что это значит
Для маленьких людей, впутанных в ткань судьбы,
для маленьких людей среди маленьких вещей,
Для голов и умов маленьких людей — выстоять рок над домом,
рок над владыкою, рок над миром?
Ах, Томас, архипастырь, оставь нас, оставь мрачный Дувр, плыви во Францию, Томас, наш архиепископ, и во Франции — наш архиепископ, Томас, архиепископ, вскинь белый парус меж темным небом и горьким морем, оставь нас, оставь — и во Францию!

Первый священник

— Нашли время для пустых разговоров!
Глупые, болтливые, бесстыжие бабы!
Знаете ли вы, что архиепископ
Будет сюда с минуты на минуту?
Народ на улицах плещет и ликует,
А вы расквакались, как древесные жабы...

У. Б. Йейтс

ВИЗАНТИЯ

1 Отступают нечистые лики дня,
Засыпает пьяная солдатня,
Колокольный звон
Отстраняет гул и отгулы ночи;
И соборный купол из-под звезд и луны
Свысока глядит
На всю злость и гной наших путаниц.

2 Проплывает образ, лик или тень —
Больше тень, чем образ, и лик, чем тень;
С мумии, как с веретена,
В петли троп развивается пелена;
Рот, иссохший и бездыханный,
Бездыханные созывает рты.
Это — смерть-в-жизни, это — жизнь-в-смерти,
Это сверхчеловечность. Я говорю ей: привет.

3 Чудо, птица или золотая игрушка —
Больше чудо, чем птица или игрушка —
В звездном свете, на золотой ветви
Может крикнуть, как преисподний петел,
Или может сквозь горечь луны
Вечным металлом с презрительной вышины
Всматриваться в перья и лепестки,
Во всю кровь и гной наших путаниц.

4 В полночь по палатам скользят
Пламена не из поленьев, огнив и молний —
Пламена, зачатые пламенами,
Чтобы души, исчадья крови,
В них оставили злость наших путаниц,
Избылись в пляске,
В бредовом предсмертии,
В предсмертии пламени, бессильного опалить.

5 Дух за духом, все ввысь, верхом
На дельфине, который весь кровь и гной!
Златокузницы императора
Преграждают потопы. Плиты пляшущего

Мраморного пола дробят
Горькую ярость наших путаниц,
Эти образы, чреватые образами, это море
В рубцах дельфинов, в муках колоколов.

ПЛАВАНИЕ В ВИЗАНТИЮ

1 Нет обители тем, кто стар.
Молодые любятся, им поют
В смертных заводях смертные хоры птиц;
Брызжут в заводях осетр и лосось;
Птица, рыба, всякая плоть
Зачинается, живет и умрет,
Не внимая за музыкою чувств
Нестареющим памятностям ума.

2 Старый человек — ничто,
Как дырявая рвань на шесте,
Если не всплеснется его душа
Всхлопом рук и песней из смертных дыр.
А чтобы запеть, нужно знать
Памятности величий своих —
И поэтому приплыл мой корабль
В Византию, город святынь.

3 Вы, премудрые в Божием огне
Золотой мозаики на стене,
Низойдите, обстаньте мой круг,
Научите душу мою запеть,
Отымите сердце мое,
Жаждущее, но вбитое в смерть,
И не знающее, что оно есть,
Ибо вечность — тоже ведь ремесло.

4 Никогда я не воплощусь
Ни в единую природную тварь,
А лишь в золото и эмаль
Греческих златокузнецов,
Веселивших сонных царей, —
Или буду с выкованных ветвей
Петь вельможам Византии о том,
Что прошло, что проходит и что пройдет.

Р. Киплинг

РУНЫ НА МЕЧЕ

Меня сковали
Предать бойца
В первом бою.

Меня послали
По злое золото
На крайний свет.

Злое золото
Вплывает в Англию
Из глуби вод.

Золотою рыбою
Вновь оно канет
В глуби вод.

Оно не за снедь,
Оно не за снасть,
А за Самое Главное.

Злое золото
Спит в казне
Для недобрых дел.

Злое золото
Всходит к миру
Из глуби вод.

Золотою рыбою
Опять оно канет
В глуби вод.

Оно не за снедь,
Оно не за снасть,
А за Самое Главное.

ЛЕСНАЯ ТРОПА

Лесная тропа,
Вот уж семьдесят тому лет,
Замуравилась
И размылась погодой-непогодой,
И уже никому не ведомо,
Что была тут лесная тропа,
А потом заросла.
Под стволами
Сплелся верес с быльем
И с синею сонной травой.
Лишь лесник
Угадает под голубиными гнездами
Меж барсучьих приволий
Ту былую лесную тропу.

Но если войдешь
В летний лес на закате дня,
Когда ляжет прохлада на форельи пруды,
Где выдра выдре свистит,
Не пугаясь людей,
Никогда здесь не виданных, —
Ты услышишь стук от конских копыт
И плеск плаща по росе,
Словно в скачке
Сквозь пустынный туман,
Словно им открыта и ведома
Та былая лесная тропа...
Но была ли лесная тропа?

У. Х. Оден

ВОЛЬТЕР В ФЕРНЕЕ

Он счастлив. Он обходит свои места.
Часовщик у окошка поднимает на него глаза
И опять опускает к часам. Возле новой больницы столяр
Притрагивается к шляпе. Садовник пришел сказать:
Посаженные им деревья принялись хорошо.
Альпы сверкают. Лето. И он велик.

Далеко в Париже, там, где его враги
Злословят, какой он гадкий, в высоком кресле сидит
Слепая старуха и ждет смерти и писем. А он
Напишет: «Жизнь — выше всего». Но так ли? Да, так. Борьба
Против несправедливости и против лжи
Стоила свеч. И сад стоил свеч. Возделывайте свой сад.

Лаской, нападкой, насмешкой — он был умнее всех.
Он был вожаком мальчишек в священной войне
Против зажиревших взрослых: как мальчишка, хитер,
Он умел, когда надо, смиренно пойти
На двусмысленный ответ или спасительный обман,
И ждал своего часа, терпеливый, как мужик.

Даламбер сомневался, а он нет: час придет.
Сильным врагом был только Паскаль; а все
Остальные — уже травленые крысы. Но забот
Еще много, а надеяться можно лишь на себя.
Дидро глуп, но делал все, что мог.
А Руссо завопит и ничего не сможет: он это знал.

Ночь заставляет его думать о женщинах. Чувственность —
Лучший из учителей: Паскаль был дурак.
Как Эмилия любила астрономию и постель.
А Пимпетта его хотела, как скандала. Хорошо!
Он отплакал свое о Иерусалиме. В конце концов,
Кто не любит наслаждения — всегда неправ.

Как часовой на посту, он не спит. Ночь пропитана злом:
Погромы, землетрясения, казни. Скоро он умрет,
А над Европой сумасшедшие матери стоят у котлов,
Чтобы бросить в них младенцев. Только его стихи,
Может быть, их удержат. Надо работать. В выси
Нежалующиеся звезды вели свою светлую песнь.

Х. Л. Борхес

ШАХМАТЫ

1 Два игрока в своем важном углу
Двигают должные фигуры. Доска
До зари навязывает им жесткий устав:
Черный и белый цвета — враги.

Строгая магия исходит от их форм:
Гомерическая ладья, веселый конь,
Одинокий король, ратователь-ферзь,
Уклончивый слон и пешка-солдат.

Когда игроки поглощены игрой
И время съедает их одного за другим,
Это не предлог, чтобы кончить обряд.

Начал эту войну Восток.
Теперь ее кормит вся земля.
Как всякой игре, ей нет конца.

2 Тонкий король, гибкий слон, горький ферзь,
Рукопашная пешка, линейная ладья, —
На расчерченных черных и белых полях
Они ищут боя и навязывают бой.

Они не слышат, что властная рука
Игрока над доской вершит их судьбу,
Не знают, что за твердокаменный рок
Правит их выбором и мерит их путь.

И такая же прихоть водит игроком
(Сказал Хайям) по расчерченной доске
В черные ночи и белые дни.

Мы движем пешки, нас движет бог,
А кто над богом начинает этот круг
Праха и времен и снов и смертей?

ПРЕДЕЛЫ

Есть строчка Верлена, которую мне уже не вспомнить,
Есть ближняя улица, на которую не ступить,
Есть зеркало, видевшее меня в последний раз,
Есть дверь, закрытая мною навсегда.
Среди книг на этих полках (вот они)
Есть такие, которых я больше не раскрою.
Этим летом мне исполняется пятьдесят:
Смерть сужает меня со всех сторон.
От меня уходят пространство, время и Борхес.

Маргарет Этвуд

НАЧАЛО

Начинается так:
вот рука,
вот глаз,
вот на бумаге
синяя рыба, почти
как глаз. Вот рот,
как «О» или как луна.
Если луна, то желтая.

За окном дождь,
зеленый, потому что лето.
За дождем деревья и мир,
круглый,
цвета девяти карандашей.

Этот мир — он большой и трудный.
Правильно: черти его красным,
он в огне.

Вот ты выучил эти слова,
а слов больше, чем можно выучить.
Слово «рука»
плывет над рукой,
как над озером маленькое облачко.
Я держу твою руку, как теплый камушек,
меж двух слов.

Вот твоя рука, вот моя, вот мир.
Он круглее и цветнее, чем кажется.
У него есть начало и конец.
Вот
то, к чему ты хочешь вернуться:
твоя рука.

Х. М. Энценсбергер

ФИНСКОЕ ТАНГО

Что было вчера   оно еще есть   и его уже нет.
Лодочка уплывает   Лодочка приплывает
Волосы у щеки   они чужие
Легко сказать   так всегда
Серое море   это серое море
Свежий хлеб вчерашний   сегодня черствый
Никто не танцует   никто не шепчет   никто не плачет.
Дым растаял   и не растаял
Серое море   уже голубое
Кто-то кричит   кто-то смеется   кого-то нет
Совсем светло   а были ведь сумерки
Лодочка не вернется назад
Все как было   и все не то
Кругом никого   Камень есть камень
Камень уже не камень
Камень вновь будет камнем
Так всегда   ничто не исчезнет
и не останется   Что было то есть
и не есть и есть   Никому
не понять   Что было вчера
Легко сказать   Как светло
это лето и как ненадолго.

Эдна Сент-Винсент Миллэй

ПЛАЧ

Детки, слушайте:
Папа умер.
Из его пиджака
Я сошью вам курточки,
Из его старых брюк
Выкрою штанишки.
По карманам у него
Много всякой мелочи:
Там в табачной пыли
Монетки и ключики.
Дэн возьмет монетки,

Положит их в копилку,
Энни возьмет ключики,
Будет ими звякать.
Жизнь должна идти вперед
И не помнить мертвых,
Жизнь должна идти вперед,
Даже если мертвецы —
Хорошие люди.
Энни, кушай завтрак.
Дэн, прими лекарство.
Жизнь должна идти вперед —
А зачем, не помню.

Хильда Домин

МАРИОНЕТКА

Радугою дуга,
натяжкою нить,
а на другом конце

образ из сна,
кукла из плоти и крови

с распростертыми руками:
всегда
с распростертыми руками.

О НАС

В будущем прочтут о нас в книжках.

Никогда не хотела я в будущем,
чтобы школьник сказал: «как их жаль»,
чтобы так
быть записанной в школьной тетрадке.

Мы, осужденные
знать
и ничего не делать,

нашему праху
не стать землей.

*

Срежь себе веки:
будет страх.

Сшей себе веки:
спи.

*

Умирающий рот
силится
правильно выговорить
слово
чужого
языка.

Лея Голдберг

ТЕЛЬ АВИВ, 1935

Крыши, как Колумбовы мачты, на каждой ворон,
и каждый каркает о другой стране.

И чужие языки
режут жаркий хамсин холодными лезвиями.

Маленький город, как ему вместить
столько памятных детств, столько брошенных любовей?

Выцвели в негативы
зимние звезды, летние дожди,
утренние сумерки заморских городов.

Все шаги вокруг тебя — как захватчики.
И кажется: обернись —
в море встанет церковь твоего города.

Поль Элюар

ЗДЕСЬ

Улица но без людей
Улица вся глубь и голь
Где не умник а дурак
Нужен видеть впереди
Дни без хлеба и тепла

Здесь концы концам под рост
Столько умных за глупца
Но весь правый здравый смысл
По ту сторону ничто
День безмерно вспухший день

Эта улица как взрез
Ран которым не остыть
Ширящихся из суббот
Это небо не для нас
Оно царь чужой страны

Небо роз небо блаженств
В полноте и красоте
Над улицею без завтр
Рвет мне сердце пополам
Нож ведет меж мной и мной

В этой улице — в ничьей.

А. Э. Хаусмен

РЕВОЛЮЦИЯ

Катится на запад черная ночь.
Лучащееся знамя вскидывает восток.
Призраки и мороки страшных снов
Золотым потопом захлестывает день.

Но над сушей и морем, все дальше от глаз,
Скользит над миром туда, за океан,

Свернутая в конус вечная тьма,
Дурацкий колпак, задевающий луну.

Смотри: вот солнце вздыбилось над головой.
Слушай: к полдню гремят колокола.
И мрак по другую сторону земли
Миновал надир и всползает ввысь.

Х. Пьонтек

ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 1968

1 Каждому дано увидеть, что он —
против эпохи.

Один протестует с лозунгом
«долой лозунги».

У другого равнобедренные
треугольники в голове.

Просвещение набирает силу.
Становится темно.

Будущее пусть будет рыжим.

О будущем поговорим завтра.

2 Каждый знает решение.
Он учащийся.

Старые люди только твердят
старые истории.

Семинарист и некая процентщица
в Петербурге:

классика, это хорошо для кроссворда.

Ничто так не тяготит,
как хорошее.

Скоро войдет в моду
топор под пальто.

Все говорят об избытке.

Наверно, снова
появятся избыточные люди.

3 Ежедневная дефлорация
под напором лозунгов.

Каждый день мы меньше себе понятны.

Ежедневные газеты еще выходят
ежедневно.

«Мир» — это такая комедия.

Уже не имеет смысла
эмигрировать.

Простые предложения
не станут проще.

ПОД НОЖОМ

Остроумие отыскало дело
для отчаявшихся:
оправдывайся.

А тринадцать букв
складываются в
невозможность.

Нередко мертвые
заправляют мертвым языком
права.

Ветер
перелетает через
белые их тени.

Я бесправен —
значит,
я жив.

НА МЕДИ

Каменные нагроможденья —
штрих на штрих —
именовались городом.

Мое самое давнее впечатление,
пережитое
не мной:

счет песчинок,
сушащих чернила на моем
смертном приговоре;

барабаны, звучащие piano;

и в сиянии Град обетованный —
совсем рядом.

Й. Сеферис

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Был пасмурный день. Никто ничего не решал.
Дул ветерок. «Это не грего, это сирокко», — сказал кто-то.
Худые кипарисы, распятые на склоне, и там за ними
серое море с лужами света.
Заморосило. Солдаты взяли к ноге.
«Это не грего, это сирокко», — и больше ни о чем ни слова.
Но мы знали: на рассвете нас не будет.
Ничего: ни женщины, пьющей сон возле нас,
ни памяти, что мы были когда-то мужчинами.
Завтра — ничего.

«Этот ветер напомнил весну, — сказала подруга,
шедшая рядом и глядя вдаль, — весну,
средь зимы налетевшую в закрытое море.
Так внезапно. Прошло столько лет. Но как мы умрем?»

Похоронный марш заплетался под мелким дождем.
Как умереть мужчине? Странно: никто не думал.
А кто думал, те словно вспоминали летописи
крестовых походов или битвы при Саламине.
И все-таки смерть: каждому своя, и больше ничья —
это игра в жизнь.
Гас пасмурный день: никто ничего не решал.
На рассвете у нас ничего не будет: все предано, даже наши руки,
и женщины наши — рабыни у колодцев, и дети —
в каменоломнях.
Подруга шла рядом, напевая бессвязно:
«весною... летом... рабы...»
Старые учители оставили нас сиротами.
Мимо прошла пара, было слышно:
«Уж темно, я устала, пошли домой,
пошли домой, включим свет».

Карл Сэндберг

ТРАВА

Громоздите трупы под Аустерлицем и Ватерлоо,
Забросайте землею и оставьте их мне.
Я — трава: я покрываю все.

Громоздите трупы под Геттисбергом,
Громоздите под Ипром и под Верденом,
Забросайте землею и оставьте их мне.
Два года, десять лет — и пассажиры спросят у проводника:
«Где это мы едем? Что это за место?»

Я — трава.
Дайте мне делать мое дело.

Э. Майстер

ПОЛОЖИСЬ НА СЕБЯ

Полагаюсь на себя.
Город бродит по собственным улицам.
Гора лезет в свою же высь.
Взлет качелей застывает в задумчивости.
Река спрашивает: «Куда мне течь?»
Бог говорит: «Не могу больше, мама. Жарко».
Шоссе говорит: «У меня больше нет бензина».
Вечер землю забрал в забор и сказал: «Добрый вечер».
Матери хором твердят:
«Все на свете само себе опора».
Им смешно.

ЗАЯЧЬЯ ЗИМА

Ура,
        полевые пуганые солдаты!
Плечо к плечу,
головами вниз,
а на головах — мешки,
— смирно висеть, зайцы! —
в зимнем ветре.

Да, это зимний ветер
белыми, как резцы,
стелется тучами серебра
над зеркальным небом.

Снежную
затеваю я лавину с горы:
один толчок,
и моя вина —
Бог-отец в небесах души —
рушится с горы
в дол, растет
и вдребезги дробит
морозное мое окно,
за которым вы колышетесь, зайцы.

Встать,
полевые пуганые солдаты!
Вольно!
Белый клевер, пушистый, расцвел в выси.
Прыгайте ко мне,
вволю полакомьтесь под зимним
ветром,
смойте
с шерсти запекшуюся кровь —
мою вину —
и гоните до упаду меня
по лугам голубого снега.

*

ТО,
что нужно познать,
что нужно испытать,
называется: Я,
и это образец
меры человека,
из таких же попыток
сколоченный покойниками.

Эрих Фрид

ЗА СМЕРТЬЮ ПОСЫЛАТЬ

Моя бабушка
бранилась, что я неповоротлив
«Тебя только за смертью посылать»

И меня
послали за смертью
Но бабушка
прожила недолго

Теперь я себя сам
браню, что неповоротлив
«Меня ведь за жизнью посылали
а я
не поспел»

СТРАХ И СОМНЕНИЕ

Не сомневайся в человеке
который говорит
«Страшно»

Но бойся человека
который говорит
«Несомненно»

HOMO LIBER

Я книга
которая будет
когда я перестану быть «я»
Я книга
которая будет «я»
когда я сделаюсь книгой

Книга
которая зачитана
и еще не написана
Книга
которая прописана
тому что еще не прочитано

Я книга
которая раскрывается
и которая закрывается
которая собой не покрывается
и перекрывается
и скрывается

Книга попавшая в переплет
расклеивается
рассыпается по листику
Продолжения нет
но она знает
что ей конец

БЕССЛОВЕСНО

Зачем ты все еще пишешь стихи
если эти слова
дойдут лишь до немногих?

спрашивают друзья
в тревоге, что их дела
доходят лишь до немногих.

И я
не могу
ответить.

БАСНИ

Однажды нам с коллегою поручили составить антологию басен всех времен и народов. Было ясно, что переводить Лафонтена и Флориана традиционным русским вольным ямбом — бессмысленно: такие переводы покажутся ухудшенными пересказами басен Крылова, и только. Мы решили сделать переводы верлибром: точность прежде всего. Издательство не возражало: ему было все равно. Но получилось плохо: длинные и короткие строки оригинала чередовались беспорядочно, и верлибр не мог воспользоваться своей способностью удлинять и укорачивать строки ради смыслового выделения. Интереснее было передавать разницу между стихом разных языков: в немецкий верлибр вводить силлабо-тонику, а в итальянский (и в старые басни Маро и Сакса) — силлабику. Мне жаль, что у Маро я не сумел сохранить цезур, у Фьякки — обязательных ударений в середине строк, а у Сакса — строгости внутристопных переакцентуаций. Басня Парини — это «сонет с хвостом», но хвост в ней больше сонета.

Клеман Маро

ЛЕВ И МЫШЬ

Не пишу тебе, как безумна страсть, —
Ты знаешь сам, где в ней польза, где бред;
Не пишу тебе о ратных делах —
Ты знаешь сам, кто в них силен, кто слаб;
Не пишу тебе о властной Фортуне —
Ты знаешь сам, надежна она, нет ли;
Не пишу тебе о людских пороках —
Ты знаешь сам их, хоть и непричастен;
Не пишу тебе о Господе Боге —
Ты сам к нему устремляешь свой разум;
Не пишу тебе про парижских дам —
Ты знаешь их лучше, чем их мужья;
Не пишу грубо, не пишу любезно, —
А лишь хочу рассказать одну басню —
Басню, в которой лица — лев и мышь.
Этот лев, сильнее, чем всякий вепрь,
Увидел однажды мышь в мышеловке,
Откуда она не умела выйти,
Объевшись там салом и сырым мясом.
Но этот лев был умен и догадлив —
Пустив в дело и когти и клыки,
Он разломал ловушку на куски.
Тетушка мышь выскользнула оттуда,
Почтительно преклонила колено
И, сорвав шапку с серой головы,
Тысячу раз благодарила льва,
Умоляя бога мышей и крыс
Воздать владыке добром за добро.
Сейчас увидишь: так оно и вышло.
Случилось однажды льву за добычей
Уйти далеко от своей пещеры,
И там, увы, он сам попался в сеть
И был привязан к крепкому столбу.
Вот тогда и явилась к нему мышь.
Она была смела и весела,
Она не насмехалась надо львом,
А, выругав котов, кошек, котят
И восхвалив крыс, мышей и мышат,
Среди которых пришел ее час
Отозваться на отзывчивость льва,
Мышь сказала так: «Молчи, лев, ты связан,
Но сейчас будешь у меня на воле,

Потому что по доброте душевной
Так и ты меня выпустил на волю:
Ты мне помог по-своему, по-львиному,
А я тебе помогу по-мышиному».
Лев от удивленья раскрыл глаза,
Повернул голову, взглянул на мышь
И сказал мыши: «Крошка-побирушка,
У тебя нет ни снастей, ни уменья,
Нет ни ножа, ни пилы, ни подпилка,
Чтобы разрезать ремни и веревки
И вызволить меня из этих пут.
Беги лучше, пока не видит кот!»
«Господин лев, — говорит ему мышь, —
Ваши слова, право же, мне смешны:
Крепких ножей у меня полон рот,
Их белая кость острее пилы,
Моя челюсть им славный черенок,
Против них не устоит ваш ремень:
Подождите, и все будет в порядке».
И госпожа мышь принялась за дело —
Стала грызть сеть. Ей пришлось потрудиться
Немало времени; но она грызла
Быстро, сильно, и вот лопнула сеть,
И лев вышел на волю, жив и цел,
С такими словами: «Истинно так:
Ничто доброе не пропадет зря».
Вот моя сказка, и притом в стихах.
Она длинна, но ей уж много лет,
Свидетель Эзоп, и не только он.
Будь же, мой друг, для меня этим львом,
А я приложу все свои усилья,
Чтоб оказаться благодарной мышью,
Ежели Бог тебе даст столько сил,
Сколько дал льву, а я надеюсь — даст.

Ганс Сакс

ЛЬСТИВЫЙ И ЧЕСТНЫЙ ПРЕД ОБЕЗЬЯНЬИМ ЦАРЕМ

У Эзопа в четвертой книге
Так говорится в восьмой басне:
Пошли два друга путешествовать,
Чтоб посмотреть на страны дальние, —

Одна в них цель, но разный нрав:
Первый из них был лжец и льстец,
А второй был, наоборот,
Чистосердечен и правдив.
Дошли они до самой Индии
И там в диком лесу увидели:
Стоит гора, а на ней трон,
А на нем обезьяний царь
С толпой придворных обезьян.
Испугались наши друзья;
А царь манит к себе лжеца
И говорит: «Кто я такой?»
Лжец льстиво молвит: «Ты владыка,
Великий, могучий, богатый!» —
«А кто стоит вокруг меня?» —
«Это стоят твои князья,
Рыцари, канцлеры, вельможи,
Стольники, спальники и челядь».
Царь за такую ложь и лесть
Щедрые дал ему дары,
А правдивый думает так:
«Если так награждают ложь,
Какова же будет награда
В ответ на истинную правду!»
А меж тем обезьяний царь
И ему задает вопрос:
«Кто я такой и кто со мною?»
И правдивый ответил честно:
«Ты — обезьяна, и вокруг
Тебя — такие же, как ты,
Безобразные обезьяны!»
Услышав правдивое слово,
Обезьяний царь со всей свитою
В ярости бросился на путника.
Они вонзили в него зубы,
Стали терзать его и мучить,
Изодрали лицо когтями
И выгнали, а все за правду.
Басня показывает нам,
Как извратился род людской.
Кто попробует в наши дни
Говорить правду при дворе
И вывести на белый свет
Пороки, царящие там,

Тот не жди никаких наград,
Кроме насмешки и хулы:
Его бросят в безумный дом
И станут псами там травить.
Но ежели явится льстец,
Расхвалит всяческое зло
И мерзость представит как благо, —
То вот кто будет принят с честью!
Таков двор — таков и весь мир:
Знать и чернь, миряне и клир,
Всем не по сердцу слово правды,
Обличающей злые нравы
И за это гонимой всюду —
В церкви, в цехе, в поле и в школе.
Мир полон зла, он это зло
Не любит выносить на свет;
Притом у него такой слух,
Который к грубой правде глух,
А хочет угодливых слов,
Пустых похвал, лести и лжи.
Кто в таком промысле силен,
Тот самый нужный человек;
А кто правду не утаит,
К тому мир свиреп и жесток.
Вот так все худо, и вот так,
Чем дальше в жизнь, тем больше лжи,
Пока весь мир хочет быть слеп,
И пока в нем властвует зло,
Причина всяческих невзгод —
Так об этом сказал Ганс Сакс.

Жан де Лафонтен

ЛИСИЦА И ВИНОГРАД

Лис-гасконец, а может быть, лис-нормандец
(Разное говорят),
Умирая с голоду, вдруг увидел над беседкою
Виноград, такой зримо зрелый,
В румяной кожице!
Наш бездельник был бы рад им полакомиться,
Да не мог до него дотянуться

И сказал: «Он зелен —
Пусть им кормится всякий сброд!»
Что ж, не лучше ли так, чем праздно сетовать?

ВОРОН И ЛИСИЦА

Дядюшка ворон, сидя на дереве,
Держал в своем клюве сыр.
Дядюшка лис, привлеченный запахом,
Повел с ним такую речь:
«Добрый день, благородный ворон!
Что за вид у вас! что за красота!
Право, если ваш голос
Так же ярок, как ваши перья,
То вы — Феникс наших дубрав!»
Ворону этого показалось мало,
Захотел он блеснуть и голосом,
Разинул клюв — и выронил сыр.
Подхватил его лис и молвил: «Сударь,
Запомните: всякий льстец
Кормится от тех, кто его слушает, —
Вот урок вам, а урок стоит сыра!»
И поклялся смущенный ворон (но поздно!),
Что другого урока ему не надобно.

Ж. П. Флориан

ИСТИНА И БАСНЯ

Однажды нагая Истина
Вышла из своего колодца;
Черты ее были трачены временем,
Юные и старые разбегались от ее лица.
Бедная Истина стыла от холода,
Ей было негде жить.
Тут предстала ее очам
В богатом наряде Басня,
Вся в перьях, вся в драгоценностях,
Блестящих, хоть часто и поддельных.
«Добрый день! — сказала она. — Это вы?
Что вы делаете здесь одна среди дороги?»

Истина в ответ: «Как видите, замерзаю,
И тщетно прошу прохожих
Дать мне приют, —
Но все меня боятся. Увы, я вижу:
Старой женщине ничего не дано». —
«Но я вас старше, —
Сказала Басня, — а между тем,
Скажу, не хвастаясь,
Мне открыта любая дверь.
Однако, сударыня Истина,
Почему вы ходите нагая?
Это нехорошо. Давайте оденемся,
И у нас будет общий интерес.
Вот вам мой плащ, и пойдемте рядом.
Если встретится нам мудрец —
Ради вас он не отвергнет меня,
А ради меня — глупец
Перестанет осыпать вас обидами.
Пользуясь этим каждая по-своему,
С вашим разумом и моим легкомыслием,
Вот увидите, сестрица: вдвоем
Мы пройдем повсюду!»

ФИЛОСОФ И СОВА

Бесприютный, гонимый, осужденный
За то, что звал вещи своими именами,
Из города в город скитался бедный философ,
Унося с собою все свое: свой рассудок.
Однажды, обдумывая плоды своих бдений,
Он увидел (дело было в лесу)
Большую сову,
Окруженную галками и воронами,
Которые клевали ее, крича:
«Вот негодяй, безбожник, враг отечества!
Ощипать его, живо! клюй его, клюй,
А потом мы будем его судить!»
И теснили сову. А она, несчастная,
Крутя своей доброю толстою головой,
Тщетно увещевала их разумными доводами.
Философ был тронут, потому что философия
Делает нас человечней и добрей:

Прогнал он вражескую стаю
И спросил сову: «Почему эти злодеи
Хотели тебя убить?
Что ты им сделала?» А сова: «Ничего:
Просто я умею видеть, когда всем темно, —
В этом и преступление».

МАЛЬЧИК И ЗЕРКАЛО

Мальчик, выросши у кормилицы в деревне,
Вернулся в город и очень удивился,
Увидев зеркало.
Сперва мальчик в зеркале ему понравился,
Потом по ребяческой привычке
(Впрочем, не только ребяческой)
Захотел он обидеть того, кто нравится,
И скорчил ему рожу, а зеркало — тоже.
Мальчик, разобидевшись,
Грозит ему кулаком,
А зеркало грозится в ответ.
Наш кривляка, озлясь, бросается с криком
Поколотить этого нахала —
И ушибает руки. Гнев его растет —
В отчаянии и ярости
Вот он мечется перед зеркалом,
Плача, крича и колотя по стеклу.
Приходит мать, утешает его, ласкает,
Унимает слезы и нежно говорит:
«Не ты ли первый стал корчить рожи
Этому негоднику, который тебя огорчил?» —
«Я». — «А теперь посмотри:
Ты улыбнулся — и он улыбнулся,
Ты к нему тянешь руки — и он к тебе тоже,
Ты не сердишься — и он не дуется:
Вот так-то люди друг с другом и живут —
И добро и зло возвращается к нам же».

Дж. Парини

КОТ И КРЕСТЬЯНИН

Однажды кот пришел к мужику в гости,
Выгнул шею в униженном поклоне,
Склонился к уху и вкрадчиво молвил:
«Ах! разреши мне пожить в твоем доме.
Я в нем не буду зря занимать место, —
Нет, я острым клыком и смелым когтем
Стану защитой от мышей бесстыдных
Для всех твоих кладовых и амбаров».
Мужик был рад слышать такие речи —
Он дал коту ключи от всех амбаров
И сказал: «Друг мой, прошу, будь на страже!»
Целую ночь было слышно, как стонут
Мыши, объятые смертельным страхом,
Но бессильные скрыться от расправы.
Никогда не бывало
Видано столь беспощадных побоищ,
Как этой ночью претерпели мыши:
Плакал слезами счастья
Крестьянин, когда поутру проснулся
И воочью увидел поле боя.
Кота-победоносца
Он взял за лапу, прижал его к сердцу,
Гладит серую шерсть, целует в морду.
Но столь великий подвиг
Не повторился следующей ночью:
Может быть, кот утомлен был вчерашним,
А только было слышно,
Как он с кошками мяукал на крышах.
Мыши слышат, и вновь выходят грабить —
Коту и дела нету:
Он за два дня до того обленился,
Что только и лежит, греясь у печки,
А там и сам ворует
Сало, и рыбу, и все, что есть в кухне:
Живет разбоем, а мышей забросил.
Крестьянин это видит,
Он горюет, кота он укоряет
И наконец ловит его с поличным.
«Ах, злодей! ах, безумец! —
Кричит ему разъяренный хозяин. —

Зачем я тебе верил? В час недобрый
Тебя я сделал главным
Над моим домом; а больше бы толку,
Кабы ты жил, как все коты и кошки».

Л. Фьякки

МОЛОДОЙ ДРОЗД И ЕГО МАТЬ

Молодой дрозд, совсем кругленький птенчик,
Еще не свыкшийся с здешнею жизнью,
Увидел перышко, по воле ветра
Летевшее по открытому небу.
«Ах, посмотри, мама, какая птичка! —
Говорит он, — с виду совсем малютка,
А летит так, как никто не летает!
Скажи, как ее имя в наших рощах?» —
«Это не птичка, — говорит мать сыну, —
Это перышко, веемое ветром». —
«Как? — воскликнул сын. — Стало быть, не только
Живые птицы способны к полету?
Не верится, что и другие тоже!»
Мать отвечает: «Куда ветер дует,
Туда летят даже мертвые перья —
Поверь, так уж ведется в этом мире».

Л. Пиньотти

ВЗБИТЫЕ СЛИВКИ

В большой фарфоровой чашке
Были чистые свежие сливки,
И француз-кондитер
Быстро-быстро
Взбивал их тоненькой ложкой.
От этой встряски
Стонала, вспухала, вставала влага
Белой сияющей пеной,
Всходя все выше и выше

Легко и мягко,
Все шире и шире за край сосуда,
И уже казалась
Белым сугробом густого снега.
А при этом были случайно
Три достойные мужа:
Физик, метафизик и важный теолог.
Сдвинув брови, они смотрели
На этот труд. Чему же они дивились?
Не сладкий ли запах кухни
Повергал в недоуменье три науки?
Нет: пред ними
Совершался химический опыт.
«Смотрите! — говорил метафизик, —
В этом прекрасном труде мы видим
Образ творящего духа:
Идея, сталкиваясь с идеей,
Возбуждается, обе рождают третью,
И снова, и снова, и постепенно,
Словно пенистая влага
Под руками кондитера, вырастает масса
Взаимосвязанных мыслей, и так выходит
Наподобие крема —
Новая философская система».
Физик, напротив,
Любовался, как самая малость
Материи становится огромным
Объемом, а это значит,
Что назло всем чувствам
Мир — ничто, материи в нем почти и нету,
А вся природа
Подобна воздушно взбитым сливкам.
Глубокомысленный же теолог,
Отведав сливок, удостоверил:
Плотности в них так мало,
Что не ешь, а только кажется, как будто
Ешь. Эта пища — словно нарочно
Чтобы обмануть нечистого духа,
Когда он во время поста примечает,
Как лакомки над чашкой шевелят челюстями,
И злорадно бросает
На адские весы это их прегрешенье,
А вес его мал, и дьявол растерян,
И богословы смеются ему в морду.

Но вдруг из гущи сливок
Раздался голос —
Не знаю уж, явление ли природы
Или шутка презрительного домового:
«Загляните в чашку:
Веса там мало, а ветра много:
Вот истинный образ
Всего, что бесполезно и праздно
В вашем человеческом знанье».

Т. Ириарте

МЕДВЕДЬ, ОБЕЗЬЯНА И СВИНЬЯ

Медведь, с которым приезжий
Зарабатывал на жизнь,
Как-то шел на задних лапах
В недовыученном танце,
Представляя человека,
И спросил мартышку: «Как?»
Мартышка была толкова
И сказала: «Никуда!»
Медведь молвил: «Ты, мартышка,
По-моему, не права:
Разве я хожу не прямо?
Разве видом не хорош?»
Свинья, видя эту ссору,
Крикнула медведю: «Браво!
Молодец! Лучших танцоров
В мире не было и нет!»
Медведь, такое услышав,
Задумался, помолчал,
А потом, убавив важность,
Сказал такие слова:
«Когда меня обругала
Мартышка, я ей не верил;
Но уж если свинья хвалит,
Значит, впрямь пришла беда!»
Пусть каждый гордец-писатель
Эту истину запомнит:
«Бранит умный — дело плохо,
Хвалит глупый — вовсе дрянь!»

Х. Геллерт

УМИРАЮЩИЙ ОТЕЦ

Два сына были у отца:
Кристоф был умный, а Георг был глупый.
Подходит смерть; и, лежа на одре,
Глядит отец с тревогой на Кристофа:
«Ах, сын! меня терзает мысль, —
Вот я умру — и что с тобою, умным, будет?
Послушай: у меня в шкапу
Стоит ларец, в нем дорогие камни,
Они — твои: возьми их, сын,
И только не делися с братом».
Сын испугался: «Как же так?
Ведь если мне достанется так много,
То чем же будет жить мой брат?» —
«Брат? — оборвал его отец, —
Не беспокойся о Георге:
Кто глуп, тот глупостью как раз и будет счастлив».

Ф. Хагедорн

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА

Два молодца, от юных лет
Привыкшие в гасконских землях
Всех вперебой честить направо и налево,
Покинули, польстившись на скитанья,
Свою певучую страну.
Охоты у них было больше, чем таланта,
И вот упрямство и нужда
В надежде выправить дела
Их довели до самой Польши.
Ни денег больше нет у бывших удальцов,
Ни песен, ни отваги;
Из милости их приютил один корчмарь
В надежде будущей поживы.
Они ему сказали: «В вашей чаще
Живет огромный злой медведь,
И мы по-рыцарски готовы заплатить
Тебе его прекрасной шкурой.

Мы не унизим, задолжав,
Перед тобою честь гасконцев:
Такого зверя затравить
Мы сможем лучше всех чертей из ада,
Ей-ей! вот будет нам потеха!»
Хозяину смешно. Он бьется об заклад,
Они спешат и рвутся к делу,
Нетерпеливая отвага их торопит,
И вот они в лесу, и вот пред ними враг.
Холодный страх пронзил обоих:
Один в испуге лезет на сосну,
Другой, умней, упал и притворился мертвым:
Застыл, не дышит, взгляд потух,
Лежит старательный покойник
И держит в памяти одно лишь:
Что мертвецов медведь не ест.
Зверь смотрит, нюхает, со всех сторон заходит
И поддается на обман:
«Фу! — он ворчит, — какая падаль!
Нам, медведям, чего-нибудь бы посвежей!» —
И удаляется. Храбрец-приятель
Скорей с сосны — и к другу. «Как я рад!
Ты жив! едва глазам я верю:
Видать, большой святой тебя хранил!
Но как же нынче вражья шкура?
Я в страхе видел, что медведь
Стоял над самым твоим ухом —
Так что же он тебе сказал?» —
«Не многое, — ответил друг, — но с толком.
Мне посоветовал он так:
Пока медведь еще не пойман,
Медвежьей шкурой не торгуй!»

Э. Клейст

РАНЕНЫЙ ЖУРАВЛЬ

Осень стряхнула листья с пестрых рощ,
Холодный иней стлался по лугам,
Когда слетелась стая журавлей
К морскому брегу, чтобы править путь
В заморский добрый край. И лишь один

Журавль, чью ногу ранило стрелой,
Был в стороне, тосклив, безмолвен, чужд
Вольному крику строящихся птиц,
И громко тешились они над ним.
Он думал: «Я не виноват, что хром,
Я благу общему служил, как вы,
И не за что смеяться надо мной.
Но ах, как мне лететь, когда всех сил
И мужества меня лишает боль?
Несчастному, мне в море будет смерть!
Зачем живым я спасся от стрелка?»
Тут ветер потянул с холмов к волнам,
И журавлиный строй взлетает в путь,
Бьет крыльями и радостно кричит,
А тот больной все дальше отстает,
Все чаще отдыхает на листах
Плавучих лотосов и все томим
Тоской и болью. Так достиг и он,
Счастливой осторожностью спасен,
Тех мест, где добрый воздух исцелил
Его недуг; а многие из злых
Насмешников погибли в пене волн.
Вы, знающие бедствий тяжкий гнет,
Вы, в честном сердце кроющие скорбь,
Оставьте страх, не проклинайте жизнь,
Дерзните в путь по жизненной стезе:
Там, за морем, есть лучшая земля —
Поля блаженства, и они — для вас!

КОМЕДИЯ

Это отрывок из латинской комедии IV века «Кверол». Комедия — очень мало известная: даже советские историки, всюду искавшие материалов о положении и психологии рабов в древнем мире, ни разу не воспользовались тем монологом раба, который здесь переведен. Раба зовут Пантомал («негодяй на все руки»), его хозяина — Кверол («брюзга»), сюжет — о том, как трое мошенников хотели этого Кверола обокрасть, а вместо этого нечаянно обогатили, но этот монолог — как бы интермедия, к сюжету отношения не имеющая. Он напечатан здесь дважды, сперва прозой, потом стихами; я прошу читать его именно в таком порядке. Дело вот в чем. Оригинал написан ритмической прозой: фразы и куски фраз начинаются как проза, а кончаются как стихи или почти как стихи — «трохаические тетраметры» с женской цезурой и мужским или дактилическим окончанием. По-русски это выглядит как последовательность синтаксических отрезков с приблизительным чередованием женских и не-женских окончаний. Если печатать этот текст как прозу, то этот ритм должен стушевываться, если как стихи — то подчеркиваться. Мне бы хотелось, чтобы читатель проверил, подтверждается ли это его восприятием. Этот текст мне пришлось печатать дважды, один раз прозой, другой стихами, но расспросить читателей о впечатлении не было случая.

КВЕРОЛ

Сцена 7

Пантомал

Нет на свете хороших хозяев — это известно всякому. Но я доподлинно убедился, что самый скверный — это мой. Человек-то он безвредный, только рохля и ворчун. Если, положим, что-то в доме пропало, он так и сыплет проклятиями, словно это неведомо какое преступление. Если вдруг обман заметит, — без перерыву кричит и ругается, да как! Если кто-нибудь толкнет в огонь стул, или стол, или кровать, как это бывает при нашей спешке, — он и на это плачется. Если крыша протекает, если двери сбиты с петель, — он скликает весь дом, обо всем допрашивает, — разве ж такого можно стерпеть? Все расходы, все расчеты записывает собственной рукой, и если в чем не отчитаешься, то деньги требует назад.

А уж в дороге до чего он несговорчив и невыносим! Выехать надо до рассвета; мы себе пьянствуем, потом спим; а он и на это уж сердит! А потом, за пьянством и сном, пойдут другие поводы: в толпе толкотня, мулов не сыскать, погонщиков след простыл, упряжка не слажена, сбруя наизнанку, возница на ногах не стоит, — а он, словно сроду никогда не ездил, все это ставит нам в вину! Когда так бывает у другого, то немножко терпения — и все постепенно наладится. А у Кверола наоборот: за одной бедой он ищет другую, придиркой за придирку цепляется; не хочет ехать с пустой коляской или с больной лошадью и все кричит: «Почему ты мне раньше об этом не сказал!» — словно сам не мог заметить. Вот уж самодур, так самодур! А если заметит какую оплошность, то скрывает и молчит, и только тогда затевает ссору, когда и сослаться не на что, когда уж не отговоришься: «Так и я хотел сделать, так и я хотел сказать». А когда наконец потаскаемся туда-сюда, то надо еще и вернуться в срок. И вот вам еще одна повадка этого негодника: чтобы мы спешили к сроку, он дает нам про запас один только день, — разве же это не значит просто искать повода, чтобы гнев сорвать? Впрочем, что бы там ему ни взбрело в голову, мы всегда сами себе назначаем день для возвращения; так что хозяин, чтобы не попасть впросак, если кто ему нужен в календы, тому велит явиться накануне календ.

А как вам нравится, что он терпеть не может пьянства и сразу чует винный дух? И что за вино, и много ли пил — по глазам и по губам он с первого взгляда угадывает. Мало того: он не хочет, чтоб с ним хитрили и водили за нос, как водится! Кто же мог бы такому человеку служить и слушаться его? Не терпит воды, коли пахнет дымом, ни чашки, коли засалена: что еще за прихоти! Если кувшин поломан и потрескался, миска без ручек и в грязи, бутылка надбитая и дырявая, заткнутая воском тут и там, — он на это спокойно смотреть не может и еле сдерживает желчь. Не могу себе представить, что такому дурному человеку может понравиться? Как вино отопьешь и водой разбавишь — он заметит всякий раз. Нередко нам слу-

чается подмешивать и вино к вину: разве грех облегчить кувшин от старого вина и долить его молодым? А Кверол наш и это считает страх каким преступлением и, что самое скверное, сразу обо всем догадывается.

Дай ему самую маленькую монетку, легонький такой серебряный кружочек, и он уже думает, что ее подменили или подпилили, потому что случай такой уже был. И какая тут разница? ведь один и тот же цвет у всякого серебра! Все сумеем подменить, а это — нипочем. То ли дело — золотые солиды: тысячи уловок есть, чтоб их подделывать. Если чеканка одна и та же, то попробуй-ка их различить! Где на свете больше сходства, чем между солидом и солидом? Но и в золоте есть различия: внешность, возраст, цвет лица, известность, происхождение, вес, — на все это смотрят у золота внимательней, чем у человека. Поэтому, где золото, там все для нас. Кверол этого раньше не знал; но дурные люди портят хороших людей!

Вот уж мерзавец этот самый наш сосед Арбитр, к которому я теперь иду! Он пайки рабам убавил, а работы свыше всякой меры требует. Кабы мог, он бы и мерки завел другие ради своей бесчестной выгоды. И вот, когда он, случайно или нарочно, повстречает моего хозяина, тут-то они вразумляют друг друга. И все-таки, ей-ей, сказать по правде, если уж надо выбирать, то я выбираю своего. Хоть какой он ни на есть, а, по крайней мере, держит нас без скупости. Да беда, что слишком часто дерется и всегда кричит на нас. Так пусть уж и того и другого накажет бог!

А мы не так уж глупы и не так уж несчастны, как некоторые думают. Нас считают сонливцами за то, что днем нас клонит ко сну: но это потому бывает, что мы зато по ночам не спим. Днем наш брат храпит, но сразу просыпается, как только все заснут. Ночь, по-моему, самое лучшеее, что сделала природа для людей. Ночь для нас — это день: ночью все дела мы делаем. Ночью баню мы принимаем, хоть и предпочли бы днем; моемся с мальчиками и девками — чем не жизнь свободного? Ламп мы зажигаем столько, чтобы свету нам хватало, а заметно бы не было. Такую девку, какой хозяин и в одежде не увидит, я обнимаю голую: щиплю за бока, треплю ей волосы, подсаживаюсь, тискаю, ласкаю ее, а она меня, — не знавать такого хозяевам! А самое главное в нашем счастье, что нет меж нами зависти. Все воруем, а никто не выдаст: ни я тебя, ни ты меня. Но следим за господами и сторонимся господ: у рабов и у служанок здесь забота общая. А вот плохо тем, у кого хозяева до поздней ночи все не спят! Убавляя ночь рабам, вы жизнь им убавляете. А сколько свободных не отказалось бы с утра жить господами, а вечером превращаться в рабов! Разве, Кверол, тебе не приходится ломать голову, как заплатить налог? А мы тем временем живем себе припеваючи. Что ни ночь, у нас свадьбы, дни рождения, шутки, выпивки, женские праздники. Иным из-за этого даже на волю не хочется. Действительно, откуда у свободного такая жизнь привольная и такая безнаказанность?

Но что-то я здесь замешкался. Мой-то, наверное, вот-вот закричит, как водится. Не грех бы мне так и сделать, как он сказал, да закатиться к товарищам. Но что получится? Опять получай, опять терпи наказание. Они

хозяева: что захотят, то и скажут, коли в голову взбрело, а ты потом расплачивайся. Боги благие! ужель никогда не исполнится давнее мое желание: чтобы мой дурной и злой хозяин стал адвокатом, канцеляристом или местным чиновником? Почему я так говорю? Потому что после свободы тяжелее подчинение. Как же мне не желать, чтобы сам испытал он то, чего никогда не знавал? Пусть же он наденет тогу, пусть обивает пороги, пьянствует с судейскими, пусть томится пред дверями, пусть к слугам прислуживается, пусть, оглядываясь зорко, шляется по форуму, пусть вынюхивает и ловит свой счастливый час и миг, утром, днем и вечером. Пусть преследует он лестью тех, кому не до него; пусть свидания назначает тем, кто не является; пусть и летом не вылезает он из узких башмаков!

Пантомал

Нет на свете хороших хозяев —
    это известно всякому.
Но я доподлинно убедился,
    что самый скверный — это мой.
Человек-то он безвредный,
    только рохля и ворчун.
Если, положим, что-то в доме пропало,
    он так и сыплет проклятиями,
    словно это неведомо какое преступление.
Если вдруг обман заметит, —
    без перерыву кричит и ругается, да как!
Если кто-нибудь толкнет в огонь
    стул, или стол, или кровать,
как это бывает при нашей спешке, —
    он и на это плачется.
Если крыша протекает,
если двери сбиты с петель, —
    он скликает весь дом, обо всем допрашивает, —
    разве ж такого можно стерпеть?
Все расходы, все расчеты
    записывает собственной рукой,
и если в чем не отчитаешься,
    то деньги требует назад.

А уж в дороге до чего он
    несговорчив и невыносим!
Выехать надо до рассвета;
    мы себе пьянствуем, потом спим;
    а он и на это уж сердит!
А потом, за пьянством и сном,
    пойдут другие поводы:

в толпе толкотня, мулов не сыскать,
погонщиков след простыл,
упряжка не слажена, сбруя наизнанку,
возница на ногах не стоит, —
а он, словно сроду никогда не ездил,
все это ставит нам в вину!
Когда так бывает у другого,
то немножко терпения —
и все постепенно наладится.
А у Кверола наоборот:
за одной бедой он ищет другую,
придиркой за придирку цепляется;
не хочет ехать с пустой коляской
или с больной лошадью
и все кричит:
«Почему ты мне раньше об этом не сказал!» —
словно сам не мог заметить.
Вот уж самодур, так самодур!
А если заметит какую оплошность,
то скрывает и молчит,
и только тогда затевает ссору,
когда и сослаться не на что,
когда уж не отговоришься:
«Так и я хотел сделать, так и я хотел сказать».
А когда наконец потаскаемся туда-сюда,
то надо еще и вернуться в срок.
И вот вам еще одна повадка
этого негодника:
чтобы мы спешили к сроку,
он дает нам про запас один только день, —
разве же это не значит просто
искать повода, чтобы гнев сорвать?
Впрочем, что бы там ему ни взбрело в голову,
мы всегда сами себе
назначаем день для возвращения;
так что хозяин, чтобы не попасть впросак,
если кто ему нужен в календы,
тому велит явиться накануне календ.

А как вам нравится, что он терпеть не может пьянства
и сразу чует винный дух?
И что за вино, и много ли пил —
по глазам и по губам он
с первого взгляда угадывает.
Мало того: он не хочет, чтоб с ним хитрили
и водили за нос, как водится!

Кто же мог бы такому человеку
служить и слушаться его?
Не терпит воды, коли пахнет дымом,
ни чашки, коли засалена:
что еще за прихоти!
Если кувшин поломан и потрескался,
миска без ручек и в грязи,
бутылка надбитая и дырявая,
заткнутая воском тут и там, —
он на это спокойно смотреть не может
и еле сдерживает желчь.
Не могу себе представить,
что такому дурному человеку может понравиться?
Как вино отопьешь и водой разбавишь —
он заметит всякий раз.
Нередко нам случается
подмешивать и вино к вину:
разве грех облегчить кувшин от старого вина
и долить его молодым?
А Кверол наш и это считает
страх каким преступлением
и, что самое скверное, сразу
обо всем догадывается.

Дай ему самую маленькую монетку,
легонький такой серебряный кружочек,
и он уже думает,
что ее подменили или подпилили,
потому что случай такой уже был.
И какая тут разница? ведь один и тот же
цвет у всякого серебра!
Все сумеем подменить, а это —
нипочем. То ли дело —
золотые солиды:
тысячи уловок есть, чтоб их подделывать.
Если чеканка одна и та же,
то попробуй-ка их различить!
Где на свете больше сходства,
чем между солидом и солидом?
Но и в золоте есть различия:
внешность, возраст, цвет лица,
известность, происхождение, вес, —
на все это смотрят у золота
внимательней, чем у человека.
Поэтому, где золото, там все для нас.

Кверол этого раньше не знал;
но дурные люди портят хороших людей!

Вот уж мерзавец этот самый наш сосед Арбитр,
к которому я теперь иду!
Он пайки рабам убавил,
а работы свыше всякой меры требует.
Кабы мог, он бы и мерки завел другие
ради своей бесчестной выгоды.
И вот, когда он, случайно или нарочно,
повстречает моего хозяина,
тут-то они вразумляют друг друга.
И все-таки, ей-ей, сказать по правде,
если уж надо выбирать,
то я выбираю своего.
Хоть какой он ни на есть, а, по крайней мере,
держит нас без скупости.
Да беда, что слишком часто дерется
и всегда кричит на нас.
Так пусть уж и того и другого
накажет бог!

А мы не так уж глупы и не так уж несчастны,
как некоторые думают.
Нас считают сонливцами
за то, что днем нас клонит ко сну:
но это потому бывает,
что мы зато по ночам не спим.
Днем наш брат храпит, но сразу
просыпается, как только все заснут.
Ночь, по-моему, самое лучшее,
что сделала природа для людей.
Ночь для нас — это день:
ночью все дела мы делаем.
Ночью баню мы принимаем,
хоть и предпочли бы днем;
моемся с мальчиками и девками —
чем не жизнь свободного?
Ламп мы зажигаем столько,
чтобы свету нам хватало,
а заметно бы не было.
Такую девку, какой хозяин
и в одежде не увидит,
я обнимаю голую:
щиплю за бока, треплю ей волосы,
подсаживаюсь, тискаю,

ласкаю ее, а она меня, —
не знавать такого хозяевам!
А самое главное в нашем счастье,
что нет меж нами зависти.
Все воруем, а никто не выдаст:
ни я тебя, ни ты меня.
Но следим за господами
и сторонимся господ:
у рабов и у служанок
здесь забота общая.
А вот плохо тем, у кого хозяева
до поздней ночи все не спят!
Убавляя ночь рабам,
вы жизнь им убавляете.
А сколько свободных не отказалось бы
с утра жить господами,
а вечером превращаться в рабов!
Разве, Кверол, тебе не приходится
ломать голову, как заплатить налог?
А мы тем временем живем себе припеваючи,
Что ни ночь, у нас свадьбы, дни рождения,
шутки, выпивки, женские праздники.
Иным из-за этого даже на волю
не хочется. Действительно,
откуда у свободного
такая жизнь привольная
и такая безнаказанность?

Но что-то я здесь замешкался.
Мой-то, наверное, вот-вот
закричит, как водится.
Не грех бы мне так и сделать, как он сказал,
да закатиться к товарищам.
Но что получится?
Опять получай, опять терпи наказание.
Они хозяева: что захотят, то и скажут,
коли в голову взбрело,
а ты потом расплачивайся.
Боги благие! ужель никогда не исполнится
давнее мое желание:
чтобы мой дурной и злой хозяин
стал адвокатом, канцеляристом
или местным чиновником?
Почему я так говорю?
Потому что после свободы
тяжелее подчинение.

Как же мне не желать, чтобы сам испытал он
        то, чего никогда не знавал?
Пусть же он наденет тогу,
пусть обивает пороги,
        пьянствует с судейскими,
пусть томится перед дверями,
        пусть к слугам прислуживается,
пусть, оглядываясь зорко,
        шляется по форуму,
пусть вынюхивает и ловит
        свой счастливый час и миг,
        утром, днем и вечером!
Пусть преследует он лестью
        тех, кому не до него;
пусть свидания назначает
        тем, кто не является;
пусть и летом не вылезает
        он из узких башмаков!

CURIOSA

А. Э. Хаусмен

ОТРЫВОК ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ

Это перевод пародии. Пародии переводятся редко: чтобы они правильно воспринимались, нужно было бы сперва перевести все пародируемые произведения. Без этого культурного фона они ощущаются не как пародии, а как самостоятельные комические (или даже не комические) произведения. Так сочинения Козьмы Пруткова для современников были пародиями, а для потомков — поэзией абсурда. А. Э. Хаусмен был крупным поэтом и еще более крупным филологом-классиком. У пародии Хаусмана два адреса: первый — Эсхил, его любимый драматург, второй — учебные переводы: буквальные, естественно рождающиеся при всяком школьном чтении трудного автора на малознакомом языке. Поколение спустя эти же «профессорские переводы» дали Э. Паунду толчок для его Проперция. Сюжет «Отрывка» — из мифа об Алкмеоне, который мстит своей матери Эрифиле за то, что она когда-то погубила его отца: точь в точь, как в мифе об Оресте и Клитемнестре. В 90 строчек вмещены диалог, хор и развязка. В диалоге выставлены напоказ все натяжки одностручных реплик стихомифии, в хоре — и банальность философии, и неуместность мифа, в развязке — противоестественность трагического действия за сценой и неподвижного обсуждения на сцене. Первая строчка копирует первую строчку «Антигоны» Софокла с ее синекдохой «О любимейшая голова Исмены...», дальше с таким же буквалистическим щегольством копируются и метонимия «дождливый Зевс», и метафора «сестра грязи», и гендиадис «стопами и поспешностью», и гистеросис «сдержу бессловесный язык». Когда в 1959 г. отмечалось столетие Хаусмена, английские античники перевели этот «Отрывок» точными греческими стихами: получилось очень торжественно и совсем не смешно. Студент Хаусмен писал для своих товарищей, читавших Эсхила по-гречески, мне переводить приходилось для тех, кто читает Эсхила в русских переводах, поэтому у пародии оказалось не два, а три адреса: сюжетные натяжки в ней — от Эсхила, ритмическая вычурность (особенно в хорах) — от Вяч. Иванова, буквализмы и прозаизмы — от учебного перевода.

Алкмеон, Хор

Х. — О ты, прекраснокожанообутая
Глава пришельца! Как, какие поиски,
Кого, зачем, отколь тебя доставили
В пределы наши славносоловьиные?
Я, вопрошая, жажду услыхать ответ, —
Но ежели случишься ты и глух и нем,
И не поймешь ни слова из речей моих,
То возвести об этом мановением.
А. — Я беотийской тек сюда дорогою.
Х. — На веслах ног или под гривой паруса?
А. — Сгибая в такт чету моих конечностей.

Х. — Под омраченным Зевсом или солнечным?
А. — Не грязью блещет обувь, но сестрой ее.
Х. — Узнать твое мне имя будет радостно.
А. — Не каждому даруется желанное.
Х. — Во что, скажи, разит твое присутствие?
А. — Язык пастуший, спрошенный, поведал мне...
Х. — О чем? Того не знаю, что не сказано.
А. — И не узнаешь, если перебьешь опять.
Х. — Вещай: сдержу я речь мою безмолвную!
А. — ...Что дом сей — Эрифилы, а не чей-нибудь.
Х. — Не посрамил он горла мерзкой ложию.
А. — Войду ль в чертог, раскрыв перед собою дверь?
Х. — Ступи на сей порог стопой удачливой!
И, о мой сын, во-первых, помни: добрым будь,
А во-вторых, о сын мой, помни: злым не будь,
Затем, что это лучше, чем обратное.
А. — Гряду в сей дом стопами и поспешностью!

Хор

В тяжком пытаньи *Строфа*
Из плохо переваренных умом дум
Трудно рождалось слово;
Взвесив его стократно,
Я смог, наконец, все рассудив, решить так:
ЖИЗНЬ НЕНАДЕЖНА!
Эту высокую истину я начертал
На размыслительном воске
Невосковых скрижалей,
И не пером ее запечатлев!
Я повторяю: В ЖИЗНИ, говорю я,
ЕСТЬ НЕНАДЕЖНОСТЬ!
Не полеты вещающих крыл
Раскрыли мне тайну,
Не дельфийский треножник ее изрыгнул,
Ни Додона:
Своим умом, утробою своей
До всего дошел я.

Надо ли вспомнить *Антистрофа*
О той, кого любил отец богов, Зевс, —
Той, кому злые боги
В странной заботе дали
Две пары копыт, пару рогов и один хвост, —

Дар нежеланный! —
И отослали в далекие страны затем,
Чтобы она училась,
Как пережевывать жвачку.
И вот, в зеленых аргосских полях
Она, бродя по травке и крапиве,
Ими кормилась!
Пусть питательна эта еда,
Но мне не по вкусу!
Пусть Киприда не выберет троном своим
Мою печень!
Зачем я вспомнил Ио? почему?
Хоть убей, не знаю.

Эпод

Но вещее сердце мое
Уже заводит само
Напев, не зовущий в пляс;
Но вот предстает дворец
Обоим моим глазам
(Вот правый, и левый вот) —
Бойнею, так сказать,
Где столько шерстистых смертей
И кораблекрушений коров.
И веду я плач на Киссийский лад,
И на громкий стук,
На моей груди разрывающий лен,
Отвечает в такт
Головы моей бедной биенье.

Голос Эрифилы, Хор

Э. — О! челюсть топора в меня вгрызается,
Язвя меня не в шутку, а доподлинно.
Х. — Мне кажется, я слышу из покоев крик,
Не схожий с криком тех, кто скачет в радости.
Э. — Ах! он опять хватил меня по черепу:
Никак меня убить он хочет до смерти.
Х. — Пусть не винят меня в поспешномыслии,
Но я скажу: кому-то там невесело.
Э. — О! о! еще удар доводит счет до трех,
Хотя об этом вовсе не просила я.
Х. — Коль это так — твое здоровье бедственно,
Зато непогрешима арифметика.

Децим Магн Авсоний

МОЛИТВА РОПАЛИЧЕСКАЯ

Ропалические стихи — это эксперимент в метрике. Так назывались гекзаметры, состоящие последовательно из 1-, 2-, 3-, 4- и 5-сложного слова. Одна такая строчка случайно нашлась у Гомера, была замечена, получила название (от rhopalon — палица, утолщающаяся к концу) и стала примером для подражаний. Поэт Авсоний, воспитатель римского императора Грациана, был консулом в 379 г. и написал по этому случаю три стихотворные молитвы; одна из них — «ропалическая». Изощренная трудность формы нимало не мешает серьезности содержания.

Собственно, начать этот раздел следовало бы с экспериментов в графике — с фигурных стихов. По-латыни их писал — поколением раньше Авсония — поэт Порфирий Оптатиан: гексаметрические строки равной длины, буква в букву, по вертикальным началам их — акростихи, по вертикальным концам — телестихи, а по серединам сложными зигзагами змеятся месостихи, и все они тоже представляют собой гексаметрические строки. Но перевести такую конструкцию у меня не хватило способности.

Бог Отец, податель бессмертного существованья,
Слух склони к чистоте неусыпных молитвословий,
Будь в выси милосерд к взываниям смиренномудрых.

Дай, Христе, образец стремлению недостижимый,
Царь благой, живитель усердия христоревнивцев,
Ты, Отца ипостась высокая в миродержавстве.

Дух Святой, доверши трехстолпное всеустроенье,
Дай Христа в небеси совокупно восславословить,
Нас мольбы возносить побуждая неутомимо.

Ночь взожжет пламена, светлейшие лампадоносных,
Ночь зарю породит неложную боголюбивым,
Ночь, светил в вышине блюдущая круговороты.

Ты зовешь к трапезе говеющих благочестиво,
Ты добро воссулил, которое всепревосходно,
Дай Твое возгласить величие, Высоковластный!

Влаг Твоих благодать омывает перерожденных,
Дав душе позабыть греховные злопомышленья,
Стад явив чистоту блистающе лилейнорунных.

Свет, глагол излитой, многогрешным вспомоществует:
Как река Иордан освящает прикосновеньем
Тех, кому заслужить помазанье достопосильно, —

Так	Христос,	стихиям	дарующий	успокоенье,
Льет	волну	крещенья,	которое	благоспособно
Смыть	пятно,	извечно	присущее	земнорожденным.
Крест	приняв	казнящий,	возглавился	пренепорочный,
Смерть	поправ,	утрату	превысивши	возобретеньем, —
Тем	себя	обрекши	всесветному	всепоклоненью.
Кто	продлит	достойно	Господнее	провозглашенье?
Как	земля	воспоет	человечьим	многоголосьем
Лик,	в выси	звенящий	хваленьями	ангелокрылых?
Рай	открыт	Стефану,	казненному	каменованьем;
Ключ	Петру	доверен,	церковному	первопрестольцу;
Савл	причтен,	гонитель,	к апостолам	боговестящим.
Стал	людей	просвещать	подстрекатель	камнеметавших;
Стал	злодей	казнимый	причастником	присноблаженства,
Все	дела	покрывши	разбойные	соискупленьем.
Нас	к Тебе	обратил	достойнейший	вероучитель,
Мы	в Твоем	притекли	возвыситься	богослуженьи —
Дай	сердца	укрепить	надеждою	несокрушимой.
В час,	когда	прозвучит	свершение	обетований,
Ты	меня	воззови	в селения	вечноспасенных, —
Бог	Отец,	податель	бессмертного	существованья!

ПОСЛАНИЕ ДВУЯЗЫЧНОЕ

Макаронические стихи — это эксперимент в лексике: стихи, написанные на смеси двух (редко больше) языков. В новоевропейской поэзии это обычно латинские гексаметры со вставками итальянских, французских и проч. слов, склоняемых и спрягаемых на латинский лад («лопата у него — лопатус, баба — бабус»): комический псевдолатинский язык, как будто латынь — это мука в макаронах, а народные языки — это сыр и масло, к ней примешанные. Сочиняться они стали в Италии в конце XV в., а образцом были вот эти стихи Авсония — латинские гексаметры, в которых греческие слова обросли латинскими суффиксами и флексиями. Авсоний писал их на старости лет, обращаясь к товарищу по риторской профессии и соседу по «сантонским полям» в южной Галлии; заключительные стихи — цитата из Горация, «Оды», II, 3, 15–16, один стих в подлинном виде, другой в греческом переводе.

Я, элладической Музы причастник и римской Камены,
Шлю на диглотте[1] привет, Авсоний, Аксию Павлу.
Как я неладно живу! Обольщаясь пустою эльпидой[2],
Можно ли педзы[3] шутить, старея из гемара в гемар[4]?
Здесь, в сантонских полях, где царит аксенический криос[5],
Я, тромерос[6], брожу и дрожу, цепенея талантом,
Для нежноплокамных[7] став Пиерид плохим ферапонтом[8].
Педы[9] сковал мне мороз, одонты[10] скрежещут от стужи,
Гея[11] покрыта хионом[12], не пышет гестия[13] жаром,
Ригос[14] вдвойне холодней из-за песен холодных аэдов[15].
Янус, однако, раскрыл календарь; и вот в новогодье
Я эпистолию шлю стихотворную филосу[16] Павлу.
Вы, кого родила Мнемосина в своей диадеме,
Девять речистых адельф[17] в венках из чистейшего крина[18],
Одушевите мне френ[19] шутоватой комической одой
И над челом раскиньте моим триумфальные птеры[20];
Ясный фаос[21] просияйте певцу в его скейскую[22] душу,
На миксобарбарский лад[23] сгармонируйте к логосу логос[24]!
Если бы Аксия Павла, наследника этой же хоры[25],
Я обошел бы стихом, то подверг бы себя немесиде[26].
Он мне во всем гемиох[27]: оценить и австеры[28] и педзы
В нашей словесной палестре[29] сумеет он лучше любого.

---

[1] *на двуязычьи*
[2] *надеждой*
[3] *шутки* [4] *изо дня в день*
[5] *негостеприимный холод*
[6] *трепетный*
[7] *нежнолоконных* [8] *слугой*
[9] *ноги* [10] *зубы*
[11] *земля* [12] *снегом* [13] *очаг*
[14] *стужа* [15] *певцов*
[16] *другу*
[17] *сестер* [18] *лилий*
[19] *дух*
[20] *крылья*
[21] *свет* [22] *темную*
[23] *полуварварский* [24] *к слову слово*
[25] *земли*
[26] *возмездию*
[27] *дольщик* [28] *серьезные речи*
[29] *школе борьбы*

Ныне же он эремитом[30] живет в отдаленной Кребенне,
Где ни стафилы[31] не зреют, ни лесха[32] ему не услада,
Ни в диалоге беседника нет, ни в симпосии хмеля:
С милою Музой сам-друг он ропщет на праздную схолу[33].
Полно, Павел, мой друг! довольно мы вынесли понов[34],
На агоре[35] разбирая дела и на кафедрах сидя
Пред непослушной толпой неанисков[36]; а много ли толку?
Между тем, иссыхает в артериях юная гема[37],
Нас уже можно геронтами[38] звать, затуманился опсис[39],
Меньше и меньше в суме статеров[40] на разные траты:
Ведь человек апаламный[41] с трудом залучит себе кердос[42] —
Трудно деньгу наживать при клиническом[43] образе жизни.
Будем, однако, мой друг, благодушны: не станем порочить
Мойру — и Лета сокроет от нас и пению[44], и поны.
Ну, а панкаллистон — лучше всего! — что при нас неотлучны
Спутницы-Музы и с винным кратером и с винным фиалом[45] —
В дружном их фиасе[46] ты обретешь утешенье от скорби.
Здесь же будут дары и Деметры Аглаокарпы[47],
Вкусный кабаний креат[48] и винные чаши, в которых
Пенится нектарный ойн[49], сколько любо усталой кардии[50].
Так гедонически мы и продлим эйс полла наши эте[51],
Покуда силы есть, и Парок
Нэмата порфиреа плэкетай[52].

[30] *отшельником*
[31] *виноградные гроздья* [32] *беседа*
[33] *досуг*
[34] *трудов*
[35] *судебной площади*
[36] *подростков*
[37] *кровь* [38] *стариками*
[39] *зрение*
[40] *монет*
[41] *беззаботный* [42] *прибыль*
[43] *лежачем*
[44] *бедность*
[45] *чашами для смешивания вина и для питья вина*
[46] *круге*
[47] *прекраснoплодной*
[48] *мясо*
[49] *вино* [50] *сердцу*
[51] *нашу жизнь на многие лета*
[52] *прядутся пурпурные нити*

СВАДЕБНЫЙ ЦЕНТОН

Центон — это эксперимент в семантике: стихотворение, целиком составленное из стихов и полустиший, извлеченных из классической поэзии (cento — лоскутное одеяло). Это совершенный образец того, что теперь называется поэтикой подтекстов. Его художественный эффект — в том, что каждый словесный «лоскут» воспринимается одновременно в двух контекстах — первоначальном и новом. «Свадебный центон» Авсония (368 г.) — первый большой центон в европейской поэзии. При императорском дворе праздновалась чья-то свадьба, император Валентиниан написал стихи на этот случай и предложил Авсонию сделать то же. Написать лучше императора было опасно, а написать хуже — вероятно, очень трудно. Авсоний вышел из положения, написав ответное стихотворение не своими словами, а вергилиевскими — смонтировав его из стихов и, чаще, полустиший «Буколик», «Георгик» и «Энеиды». Это было особенно эффектно, потому что Вергилий слыл целомудреннейшим поэтом, а свадебные стихи должны были быть непристойными. При переводе приходилось сопровождать каждый стих Авсония несколькими стихами Вергилия; по возможности использовались фрагменты существующих переводов Вергилия (А. Фета, В. Соловьева, В. Брюсова, С. Соловьева, С. Ошерова, С. Шервинского), но реже, чем хотелось бы: никто не переводил нужные строки слово в слово и полустишие в полустишие. Из восьми частей авсониевского центона здесь приводятся две первые и последняя.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Души склоните ко мне и с весельем сердца обратите,
Мужеством равные оба, оружием славные оба,
Оба в цветущей поре, род, неодолимый во брани!
Первый — ты: я знаю, что путь под счастливой звездою
Держишь по морю ты, которого ни справедливей,
Ни благочестнее нет, ни выше в войне и сраженьях, —
Ты и твой сын, вторая надежда великого Рима,
Древних воителей цвет, предмет моей высшей заботы,
Именем деду подобный, родителю — духом и дланью.
Не без приказа пою: будь всякому труд и удача
По начинанью его, — мой же долг исполнять повеленья.

1 «Энеида», V, 204 (Эней объявляет награды на состязаниях)

Став между ними, Эней такие слова начинает:
«*Души склоните ко мне и с весельем сердца обратите!*
Сколько бы ни было вас, — ни один не уйдет без подарка...»

2 «Энеида», XI, 291 (Диомед вспоминает троянских вождей)

Гектора только рука и Энея рука отлагала
Греков победу, замедлив ей шаг до десятого года, —
Мужеством, равные оба, оружием славные оба,
Но благочестием выше второй...

3 «Буколики», VII, 4 (Пастухи, состязающиеся в пении)

Тирсис и Коридон стада воедино собрали,
Тирсис — овец, а коз — Коридон, молоком отягченных, —
Оба в цветущей поре, и дети Аркадии оба,
В пенье искусны равно, отвечать обоюдно готовы...

«Энеида», IV, 40 (Дидона в Африке)

...Иль позабыла о том, на чьих ты полях поселилась?
Гетулы здесь в городах — *род, неодолимый во брани,*
Неукротимых нумидян кольцо, неприютные Сирты...

4–5 «Энеида», VI, 834 (Анхис о войне Цезаря с Помпеем)

Чада мои, не позвольте душе обыкать к этим войнам,
Грозною мощью своей не терзайте утробу отчизны, —
Первый — ты к милосердью склонись, олимпийцев потомок,
Кровь моя, вырони меч!..

«Энеида», III, 374–375 (Пророчество Гелена Энею)

Сын богини! *я знаю, что путь под счастливой звездою*
Держишь по морю ты, — такие судьбы богов царь
Определил, и вращает их круг, и черед назначает...

5–6 «Энеида», I, 544–545 (Троянцы перед Дидоной)

Царь над нами — Эней, *которого ни справедливей,*
Ни благочестнее нет, ни выше в войне и сраженьях;
Если его сохранила судьба, и воздух эфирный
Пьет он, и не сошел опочить к ужасающим теням, —
Страха в нас нет!..

7 «Энеида», IV, 94 (Юнона упрекает Венеру и Амура)

Да, завидную славу, большую добычу стяжали
Ты и твой сын: велика ваша честь и памятно дело,
Если одну двух богов погубили женщину козни!

«Энеида», XII, 168 (Встреча Энея с Латином и Турном)

Вот родитель Эней, зачинатель поросли римской,
Звездным сверкая щитом и небесным оружьем, а рядом —
Отрок Асканий, *вторая надежда великого Рима...*

8 «Энеида», VIII, 500 (Гадатель зовет этрусков к союзу с Энеем)

...О, Меонии лучшая юность,
Древних воителей цвет, кого на врага подымает
Правая скорбь и заслуженный гнев, на Мезенция вспыхнув!
Род ваш великий нельзя никакому вверять италийцу —
Нет, иноземных взыскуйте вождей!..

«Энеида», I, 678 (Венера об Аскании, идущем в Карфаген)

В город сидонский идти по зову отца дорогого
Должен царственный сын, *предмет моей высшей заботы,*
Взяв дары, что в волнах и в троянских огнях уцелели...

9 «Энеида», XII, 348 (Битва троянцев с рутулами)

Мчится с другой стороны Евмед в середину сраженья,
Славный в искусстве войны Долона старинного отпрыск,
Именем — деду подобный, родителю — духом и дланью...

10 «Буколики», VI, 10 (Посвящение эклоги Вару)

Стал воспевать я царей и богов, но щипнул меня Кинфий
За ухо, проговорив: «Пастуху полагается, Титир,
Тучных пасти овец и петь негромкие песни!..»
Сельский теперь я напев на тонкой слагаю тростинке —
Не без приказа пою. Но, Вар, кто мое сочиненье
Будет с любовью читать, увидит: все наши рощи,
Верески все воспевают тебя!..

«Энеида», X, 111–112 (Юпитер не вмешивается в ход войны)

«Добрый ли рок италийцев — причина этой осады,
Злая ль ошибка троян, обманутых ложным вещаньем, —
Рутулам воли не дам. *Будь всякому труд и удача*
По начинанью его! Для всех одинаков Юпитер».

11 «Энеида», I, 77 (Юнона велит Эолу поднять бурю)

Ей отвечает Эол: «Твоя, о царица, забота —
Ведать, что нужно тебе; *мой же долг — исполнять повеленья...*»

2. СВАДЕБНЫЙ ПИР

12 Предожидаемый день настал: для законного брака
13 Матери и мужи, юнцы пред родительским ликом
14 Входят и возлегают кругом на разостланный пурпур.
15 Слуги воды подают для рук, нагружают в корзины
16 Вскисшей Цереры дары с огня и жирной дичины
17 Жаркое мясо несут; бесконечной идут чередою
18 Птицы, породы скотов земнородных и быстрые козы, —
19 Все это есть: и бодливый козленок, и стадные овцы,
20 И обитатели вод, и олень быстроногий, и серна
21 Перед глазами у всех, и в руках плоды в изобилье.
22 После, как голод утих и алканье подавлено снедью,
23 Винные чаши большие несут и потчуют Вакхом,
24 Гимны поют и с топотом ног восклицают припевы...

12 «Энеида», V, 104 (День погребальных игр в честь Анхиса)

Предожидаемый день настал, и девятую в ясном
Свете стремили уже Зарю Фаэтоновы кони...

«Энеида», XI, 355 (Дранк просит Латина выдать дочь за Энея)

К этим дарам и словам, что во множестве ты Дарданидам
Повелеваешь послать, прибавь, о царь наилучший,
Дар в придачу один: ни пред чем не склони своей воли,
Воли отца отдать свою дочь *для законного брака*
Славному зятю и мир утвердить этим вечным союзом.

13 «Энеида», VI, 306 (В подземном царстве, на берегу Ахеронта)

Вся, разливаясь, толпа сюда к берегам устремлялась:
Матери и мужи, тела расставшихся с жизнью
Духом великих бойцов, безбрачные девы и дети
И с погребальных костров *юнцы пред родительским ликом...*

14 «Энеида», I, 700 (На пиру у Дидоны)

Вот и родитель Эней и троянские юноши вместе
Входят и возлегают кругом на разостланный пурпур,
Слуги воды подают для рук и Цереру в корзинах...

15 «Энеида», VIII, 180–181 (На пиру у Эвандра в честь Энея)

Юношей избранный цвет и жрецы приалтарные бычье
Жаркое мясо несут, вперебой *нагружают в корзины*
Вскисшей Цереры дары с огня и потчуют Вакхом...

16 «Энеида», I, 215 (Троянцы на ливийском берегу)

Пищею силы крепя, они на траве побережной
Старого Вакха спешат причаститься *и жирной дичины...*

17 «Энеида», VIII, 180 (На пиру у Эвандра)

Юношей избранный цвет и жрецы приалтарные бычье
Жаркое мясо несут, вперебой нагружают в корзины
Вскисшей Цереры дары с огня...

«Энеида», I, 641 (Изображения на сосудах Дидоны)

Груды сребра на столах, отчеканены ярко на злате
Славные предков дела, *бесконечной идут чередою*
Подвиги стольких мужей с начала древнего рода...

18 «Энеида», VIII, 27 (Ночь, когда Энею явился Тиберин)

Ночь легла, и по всей земле утомленные твари,
Птицы, породы скотов земнородных во сне позабылись...

«Георгики», II, 374 (Опасности для виноградников)

Лозам, кроме зимы непогожей и жгучего лета,
Вреден и буйвол лесной, и до лоз-то *и быстрые козы...*

[19] «Георгики», II, 471 (Довольство жителей сел)

В поле мычанье коров, под деревьями сладкая дрема, —
Все это есть; там и рощи в горах, и логи со зверем...

«Георгики», IV, 10 (Место для пчельника)

Прежде всего, выбирай хорошо защищенное место
Для обитания пчел: чтобы ветер им не был помехой
К улью лететь, *и бодливый козленок, и стадные овцы*
Скоком не смяли цветов...

[20] «Георгики», III, 243 (Любовь охватывает все живое)

Так-то всяческий род на земле, и люди, и звери,
И обитатели вод, и скотина, и пестрые птицы
В буйство впадают и в жар: вся тварь одинаково любит...

«Георгики», III, 539 (Болезнь устрашает всех животных)

...*И олень быстроногий, и серна*
Робкая бродят меж псов возле самых жилищ человека...

[21] «Энеида», XI, 311 (Латин признается в неудачах войны с Энеем)

Прочих дел боевых каковы крушения ныне, —
Перед глазами у всех и в руках: убедись, кто не верит...

«Буколики», I, 80 (Титир приглашает Мелибея)

Все ж отдохнуть эту ночь ты можешь вместе со мною
Здесь, на зеленой листве, где есть и *плоды в изобилье*,
Свежие, жатый творог и спелая мякоть каштанов...

[22] «Энеида», VIII, 184 (На пиру у Эвандра)

Жадно вкушает Эней с молодежью троянскою вместе
Длинный бычий хребет и утробу чистительной жертвы.
После, как голод утих и алканье подавлено снедью,
Молвил владыка Эвандр...

[23] «Энеида», I, 724 (На пиру у Дидоны)

После того, как пир приутих и убраны яства,
Винные чаши большие несут и венки возлагают...

«Энеида», VIII, 181 (На пиру у Эвандра)

...Жаркое мясо несут, вперебой нагружают в корзины
Вскисшей Цереры дары с огня *и потчуют Вакхом*...

[24] «Энеида», II, 239 (В Трою ввозят деревянного коня)

...Юноши вкруг и безбрачные девы
Гимны поют, и рады рукой коснуться каната.

«Энеида», VI, 644 (Души блаженных в Элисейских полях)

На травянистых они упражняют члены палестрах,
То состязаясь в игре, то борясь на желтой арене,
Хоры ведут, *и с топотом ног восклицают припевы...*

8. ДЕФЛОРАЦИЯ

101 «Энеида», XI, 631 (Битва троянцев с рутулами)

После того, как сошлись в третий раз они в жарком сраженье,
Все смешались ряды, и рванулся на воина воин...

«Энеида», VI, 268 (Эней в подземном царстве)

Так незримые шли *одни они в сумраке ночи*
Через бесплотное царство, пустынную храмину Дита...

102 «Георгики», III, 267 (Любви подвластны все животные)

Так не ярится, однако никто, как ярятся кобылы:
Пыл сама в них Венера влила, когда челюстями
Древних потнийских квадриг было пожрано Главково тело...

«Энеида», III, 240 (Борьба с гарпиями)

...Знак подает Мизен с высокого камня
Полою медью, друзья набегают *для нового боя,*
Чтоб омерзительных птиц морских искалечить железом...

103 «Энеида», X, 892 (В бою убит конь Меэенция)

Он встает во весь рост, копытами вздыбившись в воздух,
Бьется, всадника сбив, и сам ему рушится следом,
Выбросил ногу вперед, и подмял, и ничком налегает...

«Энеида», IX, 398 (Нис приходит на помощь Евриалу)

Видит: пред ним Евриал, обманутый местом и мраком,
Шумом врагов застигнут врасплох, чужими руками
Схвачен, опутан, влеком, *против множества тщетных попыток...*

104 «Энеида», X, 699 (Мезенций в бою)

...Долихонова сына он Гебра
Наземь простер, Латага за ним и бегучего Пальма —
Бьет он Латага скалой, огромною горною глыбой,
Рот подминает и лик врага, а Пальму поджилки
Перерубает колен и бросает бессильного в корчах...

«Энеида», XII, 748 (Эней преследует Турна)

Тем не меньше Эней, хотя от удара стрелою
Медлят колени под ним, препятствуя быстрому бегу,
Мчит за трепещущим вслед, *на пяту наступает пятою...*

105 «Энеида», VII, 362 (Амата не хочет выдавать дочь за Энея)

«Ты ли, отец, ни себя не жалеешь, ни дочери нашей,
Ни меня, наконец, из чьих материнских объятий
Дальше коварный стремясь с первым ветром умчит нашу деву?..»

«Энеида», VI, 406 (Сивилла показывает Харону золотую ветвь)

«Это троянский Эней, благочестьем и бранями славный,
Сходит к отцу своему в преисподние тени Эреба!
Если не тронешься ты столь зримой любовью сыновней, —
Эту ветвь (и открыла *тот сук, что скрывался одеждой*)
Ныне признай!..»

106 «Буколики», X, 27 (Боги сочувствуют влюбленному Галлу)

Пан, Аркадии бог, пришел, — мы видели сами, —
Красный, как сурик, как кровь бузинных налившихся ягод, —
«Будет ли мера?» — спросил. Но Амуру нимало нет дела!

107 «Энеида», XII, 312 (Неожиданное нарушение перемирия)

А благочестный Эней с безоружной простертой рукою
И с *обнажившимся лбом* заклинал своих ратников криком:
«Стойте! куда вы? Зачем вскипает нежданная распря?..»

«Энеида», VII, 66 (Знаменье царю Латину)

Пчелы тучей густой (о, даже рассказывать дивно!)
С шумом к лавру тому примчались сквозь воздух прозрачный,
Сели на самом верху, *сплетясь ногами* с *ногами*,
И неожиданным роем на ветке зеленой повисли...

108 «Энеида», III, 658 (Рассказ об ослепленном киклопе)

Только он это сказал — над самою горной вершиной,
Видим, громадой возник и над овчим держится стадом
Сам пастух Полифем, направляясь к знакомому брегу, —
Чудище страшное это, большое, тупое, слепое...

109 «Энеида», X, 788 (Эней пытается добить раненого Мезенция)

...Эней ободренный
Видит тирренскую кровь, рукою проворною меч свой
Он подымает от бедр и над трепетом, пылкий, возносит...

110 «Энеида», I, 159 (Эней пристает к ливийскому берегу)

Есть в укромных местах залива удобная пристань:
Остров ее заслонил, бока подставляя прибою, —
Волны дробятся о них и расходятся в легкие круги...

«Энеида», XI, 224 (Засада Турна против Энея)

Есть в долине крутой поворот, пригодный в сраженье,
Чтоб обмануть врага: где густою листвою дорогу
Черные склоны теснят, *где труден вход для входящих*,
Узок зев горловин и вьются недобрые тропы...

111 «Энеида», VIII, 392 (Венера обнимает Вулкана)

...Знакомый по членам
Жар пробежал и в кости проник, разомлевшие дрожью:
Так иногда меж туч грозовых, разорванных громом,
Щель огневая, блеснув, опояшет сверканием небо...

«Энеида», VII, 84 (Царь Латин у оракула)

А озабоченный царь чудесами к оракулу Фавна,
Вещего старца-отца, поспешает на склоны лесные
Той Альбунейской горы, где священная в роще пространной
Влага звучит, *и душным она испарением дышит...*

112 «Энеида», VI, 563 (Эней у ворот Тартара)

Вещая жрица в ответ: «О вождь прославленный тевкров,
Чистому стать никому не дано на порочном пороге...»

113 «Энеида», VII, 568 (Долина Ампсанкта — вход в преисподнюю)

Полость ужасная там, и отдушины грозного Дита
Явлены, там Ахеронт, прорвав бездонную пропасть,
Зев в земле тлетворный разверз, там Эринния скрылась,
Гнусное всем божество, облегчив и землю и небо.

«Энеида», VI, 240–241 (Авернская пещера — вход в преисподнюю)

Мимо нее не могли никакие крылатые птицы
Путь безопасный держать — *такое из черного зева*
Там дыханье летит, возносясь к небесному своду...

114 «Энеида», VII, 480 (Фурия на охоте ссорит троянцев с латинами)

Ярость внезапную тут стигийская вдунула дева
В псов, знакомым лесным *тревожа запахом ноздри,*
Чтобы рванулись они, горя, за оленем. И это
Стало началом всех бед, поселян воспалило на битву.

115 «Энеида», XI, 530 (Турн становится в засаду)

Юноша рвется туда, спеша по путям небезвестным,
И занимает притин, и таится в лесах вероломных...

116 «Энеида», V, 858 (Бог Сна губит кормчего Палинура)

Только лишь первый покой расслабил не ждавшему члены,
Вот он сверху налег, и с куском кормового настила,
И с кормовым веслом Палинура в прозрачные волны
Он низвергает, вотще зовущего ближних на помощь...

«Энеида», IX, 743 (Бой Турна с Пандаром)

Молвил. На это в ответ *узловатое, с толстой корою*
Он, изо всех напрягшихся сил, копье запускает, —
Ветер отвеял копье, отвратила Сатурния рану...

118 «Энеида», XI, 804 (Смерть амазонки Камиллы)

...А она дуновенья не чует,
Звука не слышит, древка не видит, летящего в ветре,
В грудь нагую пока не вонзилось копье, и глубоко
В тело проникло оно, упиваясь девической кровью...

119 «Энеида», II, 53 (Лаокоонт перед троянским конем)

«...Что там ни есть, я данайцев боюсь и дары приносящих!»
Так он сказал, и копье огромное мощною мышцей
Чудищу в бок устремил, в скругленное скрепами чрево.
Встало оно, трепеща, впилось в потрясенные недра,
И задрожала утроба, и стоном наполнилась полость.

120 «Энеида», XI, 816 (Смерть Камиллы)

Вытащить хочет копье она, обмирая, но тщетно —
В самые ребра вошел железный конец в ее ране...

121 «Георгики», III, 442 (Болезни скота)

Овцы чесоткою злой больны, коль дождливая стужа
В плоть проникает до самых глубин, или страшной зимою
Снежный мороз; а еще — коль на стриженых пот остается,
С них не отмытый, иль куст ободрал им колючками кожу...

«Энеида», XI, 817 (Смерть Камиллы)

Вытащить хочет копье она, обмирая, но тщетно —
В самые ребра вошел железный *конец в ее ране...*

122 «Энеида», IV, 690 (Умирающая Дидона)

Трижды она поднялась на одре, опираясь на локоть, —
Трижды пала на одр; и, блуждая очами в высоком
Небе, света искала она, и стонала, увидев.

123 «Энеида», X, 770 (Мезенций и Эней встречаются в бою)

Так Мезенций шагал в своем исполинском доспехе.
Издали взвидев его, Эней во вражеском строе
Выйти навстречу готов. *А тот остается, не дрогнув,*
Ждет могучего духом врага, и недвижно громаден.

124 «Георгики», III, 110 (Кони на скачках)

То пригнувшись к земле, то вскинув над нею копыта,
Словно по воздуху мчатся пустому, вздымаяся в вихре;
Не отдохнуть ни на миг: песок лишь вздымается желтый
Следом, и в спину им пеною дышат летящие сзади.

«Энеида», V, 852–853 (Палинур борется со Сном)

«...Я ли Энея (ужель?) вероломному ветру и небу
Вверю, столько уж раз обманутый мнимою тишью?»
Так говорит он в ответ; *налегая на брус путеводный,*
Не ослабляет он сил, а очи возводит к светилам...

126 «Энеида», VI, 122 (Эней молит сивиллу допустить его в Аид)

«...Разве не вызвал отселе Орфей жены своей душу,
Вверясь фракийской кифаре своей и струне сладкозвонной,
Разве не выкупил брата Поллукс, по смертной дороге
Снова и снова верша свой путь? Поминать ли Тесея
Или Алкида? Мой род ведь и я возвожу к Громовержцу!..»

«Энеида», II, 52 (Лаокоонт мечет копье в деревянного коня)

Встало оно, трепеща, впилось *в потрясенные недра,*
И задрожала утроба, и стоном наполнилась полость.

127 «Энеида», XII, 276 (Битва троянцев с рутулами)

Дрот попадает из них в одного в середине, где шитый
Пояс сжимает живот и края кусает застежка;
Юношу дивной красы, сиявшего в блеске оружий,
Он поражает насквозь и на желтый песок простирает...

«Энеида», VI, 647 (Орфей в Элисейских полях)

Здесь и фракиец, служитель святынь, в одеянии длинном,
Мерным стопам плясунов семизвучными вторит струнами,
То в них перстами, а то *ударяя зубом слоновым...*

128 «Энеида», V, 327 (Состязание в беге)

И на последнем уже перегоне, усталые, к самой
Цели они подошли, — как Нис, поскользнувшись на каплях
Крови, упал, злополучный, в том месте, где тельчие жертвы,
Почву кругом оросив, на зеленые брызнули травы...

129 «Энеида», V, 199–200 (Состязание в гребле)

...Изо всех они сил соревнуя,
К веслам припали; дрожит медь кормы от широких ударов,
Море навстречу бежит, *дыхание частое зыблет*
Члены, сохнут уста, пот по лицам стекает ручьями...

131 «Энеида», XI, 818 (Смерть Камиллы)

Вытащить хочет копье она, обмирая, но тщетно —
В самые ребра вошел железный конец в ее ране.
Никнет тело, скользит, и гаснут застывшие в смерти
Взоры ее, и с ланит уходит пурпурный румянец.

«Георгики», III, 381 (Приворотное зелье — гиппоман)

Тут-то у кобылиц та *слизь истекает из паха,*
Коей названье дано «гиппоман — кобылье безумье»:
Тот гиппоман, за которым на пастбища мачехи злые
Ходят, сбирая, и трав добавляют, и слов наговорных...

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Михаил Леонович Гаспаров

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ПЕРЕВОДЫ

Ответственный редактор
П. В. Дмитриев

Художник
Л. Е. Миллер

Корректоры
О. И. Абрамович, Ю. С. Смолякова

Компьютерная верстка
А. Б. Левкина

Сдано в набор 25.12.2002. Подписано в печать 04.09.2003.
Формат 70×100 1/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура Журнальная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 28,5.
Тираж 3000 экз. Заказ № 178.

Лицензия ИД № 03369 от 28 ноября 2000 г.
Издательство «Гиперион»,
199178, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., 55
E-mail: hyperion@mail.rcom.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ООО «Невская жемчужина».
194021. Санкт-Петербург. Политехническая ул. 22

ISBN 5-89332-076-X

9785893320763

В серии
АНТИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ГИПЕРИОНА

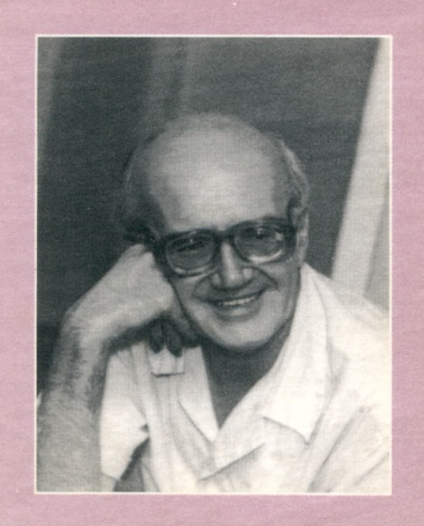
готовится
новое издание
знаменитой поэмы

ОВИДИЯ

МЕТАМОРФОЗЫ

с мифологическим комментарием
М. Л. Гаспарова

Текст «Метаморфоз» публикуется
в ставшем классическим переводе
С. В. Шервинского



*Мне не хотелось бы, чтобы
эти упражнения выглядели
только литературным хулиганством.
В истории поэзии такие переработки
появляются не впервые.
Когда александрийские поэты III в. до н. э.
стали разрабатывать
камерную лирику вместо громкой,
то они брали любовные темы
у больших лириков-архаиков
и перелагали в короткие и четкие эпиграммы,
писанные элегическим дистихом.
В этом была и преемственность,
и полемичность...
Можно ли вообще считать
получающиеся тексты переводами?
Идейное и эмоциональное
содержание оригинала — сохранено.
Композиционная схема — сохранена.
Объем — резко сокращен.
Стиль — резко изменен.
Стих — изменен еще резче.
Много убавлено, но ничего не прибавлено.
Достаточно ли этого, чтобы считать
новый текст переводом старого,
пусть вольным?
Или нужно говорить о новом произведении
по мотивам старого?..*

М. Л. Гаспаров